



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были отданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### **Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

ОСИП ТУРЯНСЬКИЙ



ПОЗА МЕЖАМИ БОЛЮ

THE PENNSYLVANIA  
STATE UNIVERSITY  
LIBRARIES













Роза ме́жаму болю́. Туря́нський, Сид

# ПОЗА МЕЖАМИ

## БОЛЮ.

КАРТИНА З БЕЗОДНІ

НАПИСАВ

ОСИП ТУРЯНСЬКИЙ.

Накладом »Української Мистецької Накладні і Книгарні«  
у Відні.

Склад в Книгарні Наукового Тов. ім. Шевченка у Львові.

ВІДЕНЬ—ЧІКАГО 1921.

Українська Мистецька Накладня і Книгарня »У-М.-НА«  
Art. Publishing Company »UMNA«.  
Buch- und Kunstverlag »UMNA«.

Всі права застережені,  
в окрема права перекладу.  
Для ЕВРОПИ.

Copyright by Art. Publishing Company »UMNA«  
Vienna, 1921.  
Representant: Dr. S. Hrynewetskiĵ.  
Chicago, 1921.

Українська Мистецька Накладня і Книгарня »У.-М.-НА«.  
Art. Publishing Company »UMNA«.  
Buch- u. Kunstverlag »UMNA«, Wien VIII., Lederergasse 20.

THE PENNSYLVANIA STATE  
UNIVERSITY LIBRARY

Digitized by Google





*Dr. Oscar Myrland*

Присвячую моїй дружині й мому синові.



**Dem Dichter von „Jenseits von Leid  
und Schmerz“ Ossyp Turjanskyj.**

Des Krieges grauenhafter Sündenknäuel,  
Der hydragleich die ganze Welt umspannt,  
Schuld und Verbrechen, Wahnsinn, Not und Greuel,  
Hast schuldlos Du am eignen Leib erkannt.

Der Gottesgeißel grimme Peitschenhiebe  
Verbluten ließen Dir fast Geist und Herz,  
In dichtem Kugel- und im Schneegestiebe,  
Jenseits der Grenzen schon von Leid und Schmerz.

Inmitten zwischen Wahnsinn und Verbrechen,  
Des Krieges wildem Pandämonium,  
Dein Herz von Liebe wußte doch zu sprechen,  
Des Friedens heilig' Evangelium.

Und nah dem Hunger, dem Erfrierungstode,  
Dem schon verfallen war Dein armer Leib,  
Griff Deine Seele nach des Himmels Brode,  
Bracht' Rettung Dir Erinn'ung an Dein Weib.

Wie Dante aus der Hölle auferstanden,  
Darin Dich traf des Krieges grimmster Fluch,  
Du kündest allen Völkern, allen Landen  
Der Menschenliebe höchsten Weihespruch.

Robert Plöhn.



Авторові „Поза межами болю“  
Осипові Турянському.

(Переклад із німецького оригіналу.)

Усі жахливі злочини воєнні,  
Що розвалили світ весь до основ,  
Усі пекельні пропасти огненні  
Невинно Ти вже за життя пройшов.

Бич божий серед ударів жорстоких  
У Тобі вбив життя останню тіль  
У прірві голоду в снігах глибоких,  
Вже поза межами усіх терпіль.

Та серед божевільної руїни,  
Із виру всіх діявольських страхіль  
Твій дух високо злинув на вершини  
І з тьми слав думу в соняшну блакіль.

Вже смерть несла Тобі кінець тілесний,  
Якаж міць віддала Тобі життя?  
Це привид ясний був, небесний —  
Тебе спасла дружина і дитя.

І з чорної могили знов воскрес Ти,  
Мов Данте із безодні пекла й тьми,  
Щоб слово огняне, святе понести  
Любови і братерства між людьми.

Роберт Плен.







## Передне слово.

Я й мої товариші пали жертвою жахливого злочину.

Це був злочин, якого люде і природа допустилися на нас і який і нас приневолив стати злочинцями супроти духа людства.

І судилося нам пройти за життя пекло, яке кинуло нас поза межі людського болю — в країну божевілля і смерти.

---

Тіні моїх товаришів являються мені у сні й на яві.

Бачу їх обличчя живих трупів.

Бачу, як біль і розпука кладе їм на очі й на мозок соняшний серпанок привидів і божевілля і як вони з радісними окликами, з усміхом щастя западаються в безодню небуття.

І я лечу з ними у прірву.

---

Я чудом остав між живими.

Та все здається мені, що я наче споза мо-  
гили дивлюся на вир життя, на дикий танок  
людських пристрастей і душевного озвіріння.

І чую голос із того світу.

І почуваю себе чужим, самотнім, сиротою  
між людьми, з якими довелось мені жити тепер  
— на вигнанню.

Моя душа відривається від життя, як  
осінній пожовклий листок від дерева й лине  
далеко, далеко до моїх товаришів.

І з тихим шелестом-зітханням стелиться  
по землі й шукає їхньої могили.

Бо їм ніхто навіть могили не висипав.

Тяжкі спільні терпіння зеднали не-  
розривно наші душі, зробили нас братами.

І в моїм серці плаче жаль і туга за ними.

---

І згадую незабутнього товариша Василя  
Романишина.

Друже мій!

І ти вже не живеш.

Твої кости біліють далеко серед синіх сте-  
пів України.

Осінній вітер б'є їх.

Холодний дощ умиває їх.

Роса вранці сльозами паде на них.



І коли наша боротьба за волю така важка  
і кривава, то не падаймо ні на хвилю в темряву  
розпуки, бо

Через сльози і терпіння  
Шлях веде до просвітління:  
Хто боровся, скутий тьмою,  
Тому сонце мрія мрій.

Відень, у вересні 1920.

Осип Турянський.





## Поза межами болю.

Поміж небом і землею блукають тисячі й тисячі тіней.

Якби люде з далекого соняшного світу побачили ті тіні й пізнали в них своїх рідних, то збожеволілиби з розпуки.

Але вони їх не побачать, бо ті тіні розвіються, як сонні мари, в безодні буття й ніхто навіть не знатиме, де й коли.

---

Під ударом німецько-австрійського війська покинули Серби свій край і забрали всіх бранців, 60.000 душ, із собою та пігнули їх на альбанський »шлях смерти«.

В альбанських горах, нетрах, з голоду, холоду й душевного болю згинуло 45.000 бранців.

По високому хребті альбанських гір, завіяних снігом і морозом окутих, ідуть прочі тепер на стрічу долі.

Ідуть живі трупи людей по трупі природи.

---

Чорні хмари закрили заздрісно сонце і блакить неба й повисли над ними, як велитенські чорні крила всесвітнього духа знищення.

І спокійні ці хмари, як німе прокляття, непорушні, мов скелі, невблагані, як доля.

Понура тьма хмар поклалася гробним каменем на замучені душі.

Земля відцуралася їх.

Вона кинула їх у ті високі гори, між дикі строми й безвісти, де на кожному кроці чатує смерть.

Відгородила себе від них густими хмарами мраки, яка висить по обох боках гірського хребта і схожа на розбурхане, сіре море, що застигло і скамяніло.

Чорне море хмар на небі глядить понуро на сіре море хмар над землею.

А в середині між двома морями йдуть тіні по срібно-білому хребті гір.

Вони наче висять між небом і землею.

Між життям і смертю.

Гірський хребет розпустив могутні, розколені, пошарпані й нагі ребра, які місцями тонуть під ногами тіней у сизій млі, то знов виринають із неї і гинуть на крайнебі в чорних хмарах.

І лежать на хмарах, мов скелет дивного великана, що руйнуючи життя й сам погіб.

І біліють, мов срібні острови серед сірого моря мраки, то чорніють стрімкими обривами скель над безоднями, то підносять гордо і грізно кам'яне чоло до хмар.

А там недалеко на крайнебі гори-велитні сховали білі голови в чорних хмарах, а їх темні, ґранітні стіни, роздерті в титанічній боротьбі стихій, навислі над пропастями великанські звали, брили і строми, уявляють собою образ безмірного знищення й руїни.

Зі сніжних верхів, із чорних обривів, із пропастей, із кожної скелі і з кожного закутка визирає бездонна глибінь грози, суму й безнадійности.

Та проте здається, що дух руїни не завершив іще свого діла знищення. Могутній володар тих диких безвістей — мороз скував і приспав його і все кругом заляв.

І серед реву боротьби й нищення небо, гори, земля — все нараз замовкло і скамяніло.

Та серед цієї залятої, скамянілої тиші небес, хмар, гір і глибин царить якесь повне грози й таємне очікування.

Хмари до хмар, гори до гір притулилися в німій тривозі і наче шепчуть до себе:

Хтось небаром явиться...

Хто це буде? Що це буде?

Чи оркан струсне горами й безоднями?

І пірве всі іскри життя, яке аж тут заблукало, в божевільний вир і одним ударом усе загасить, усе розібе, розторопить та кине у тьму небуття, в безодню нічогости?»

— — — — —  
— — — — —

Вже довго вони блукають по альбанських безвістях.

Два невідступні товариші: голод і мороз ведуть їх на стрічу смерті.

В останніх днях загнуздився в їх душі третій і найтящий ворог: безнадійність.

Від десятих днів вони вже нічого не мали в устах.

Нема вже диких овочів ні трави ні хопти ні кори з дерева.



Тіло з них майже зникло.

Останки обшарпаного одіння висять на них, мов купа брудного й замерзлого лахміття на кістяках.

Ноги, опухлі з голоду й зимна, здельбільшого обвинуті онучами, які щораз розлізаються, доки зовсім не облетять.

І не одна людина йде по замерзлому снігу босоніж.

У них уже ледві видно сліди обличчя.

Замість щок дві ями, мов дві глибоко розкопані могили.

Лице покрите, здається, не шкірою, лиш якоюсь чорно-сірою, землистою поволокою, що схожа на пліснь у грибів.

На лиці кожної людини довга борода, розкуйовджена, помервлена, як помарнілий, розтоптаний бурян на розораній скибі.

---

Очі сховалися глибоко в лобі.

Шукають душі, щоб разом із нею покинути останки тіла, нужденну, розвалену тюрму.

Одні очі погасли, другі блищать горячковим огнем і виразом недалекого божевілля.

Коли одна людина гляне в лице другій,  
здрігається.

Відвертається з жахом, а тремтячі уста  
шепчуть:

»Смерть« . . . .

Лиш деякі сліпі люде не видять смерти  
в обличчах других.

І не мають утомлені очі людей на чому  
спертися ні на чім одпочити.

Шукають неба.

Та неба немає.

Тільки байдужа і скамяніла гроза чорних  
хмар наче посилає їм лиш одну думку:

»Смерть«.

Очі відвертаються від неба і блукають по  
безкрайому морі сірих хмар над безоднями.

А те море бездонно сумне, безмежно  
безнадійне.

І очі людей ховаються ще глибше в ямах  
і замикаються.

І шукають у замученій душі світла.

Але й душа окута, мов цвинтарним муром,  
сумом ночі й холодом смерти.

---

І тоді остання життєва сила, остання туга  
розбиває кайдани дійсности.

Свідомість бунтується проти безтямного болю й нужденности буття й западає в сон.

Замучені голодом, морозом і безсонними ночами вони попадають у сумерк півсвідомости, яка хвилями зникає, то знов деколи переходить у повну несвідомість.

І їх уяву огортає серпанок соняшних привидів і божевілля.

Їхня свідомість похожа тепер на сонце.

Пливуть малі й більші хмарки, в меншій то дальшій віддалі від себе і притемнюють та заслонюють його на мент або на довшу хвилину.

Аж насуне велика, чорна хмара й заступить сонце може на все.

І за чим життя людей тужило, за чим їх душа рвалася, це ввижається тіням наче промінь сонця в темряві їх душі.

І захоплені тим промінням вони бачать життя, яке кинуло на них уже присуд смерти.

Їм увижаються люде, які їм були близькі колись. Вони вітають, обнімають їх, говорять із ними.

Вони чують дивні звуки з далекої батьківщини, співають пісні, які ще дітьми чули.

З малими винятками вони всі, здається, збожеволіли.

І з ясними видіннями вони вмірають із усміхом на устах.

Падають на шляху.

І тоді чути стріли сербських крісів.

Це сербські вартівники вбивають німецьких людей, які вже не можуть піднятися.

Бояться Сербі, щоб ці вміраючі людські тіні не остали позаду й не зміцнили німецького й австрійського війська, від якого здаєка аж тут гомонить час від часу глухо гук гармат.

Багато їх кидається в безодню, щоб не вмерти в немочі від сербської кулі.

Ось недалеко паде одна людина.

Серб іздіймає з плечей кріс і підходить до неї.

Людина витягає руки й розказує Сербові:

»Мої діти ще оттакі маленькі. Оттіцькі ще«.

Показує рукою, як маленькі його діти й роздираючи голосом благає:

»Брате Сербе, не осирочуй моїх діточок!«

Але ворог не знає милосердя.

Лунає гук вистрілу.

І тінь останніми каплями крові червонить білий сніг.

Так умірає багато людей з перестріленими  
або багнетом пробитими грудьми й головами.

---

Кожда людина збирає останки сили, щоб  
не впасти.

Ідуть із найтящим зусиллям.

Уста судорожно затиснені, жили на темно-  
сірих і зелених чолах виступають на верх, на-  
че хочуть одірватися від обличчя.

Їхні голови хиляться безсильно на груди.

Наче невидима сила закинула їм тяжкі  
верії на шию і гне й тягне їх живосилом  
до землі.

Ідуть, наче тягнуть власні трупи на вели-  
кий похорон.

Гробову тишу природи перебиває тихе  
зітхання, вриване хлипання; голосний лемент  
і зойкіт людей з босими ногами на замерзлому  
снігу, радісні оклики збожеволілих, сербські  
стріли й останній крик розпуки перед смертю.

Багато людей утратило ясну свідомість  
того, де вони, звідкіля й куди йдуть?

Деякі забули мову.

---

У найбільшій частині людей серце вже  
заснуло.

Воно не відчуває вже більше ніякого болю  
ні бажання.

Ніякої туги за життям ні за далекими  
єствами.

Батько... мати... жінка... діти?...

Що це?

Якось імлюю овіяна, в струї вічності по-  
хована, приспана в душі згадка з давньої-пре-  
давньої, замерклої минувшини.

Якось неймовірна, чудова казка з раю,  
котрого немає на цій землі.

---

Що їх зустрине через годину, через дві,  
завтра?

Це їм байдуже.

У них уже немає навіть сили думати  
про те.

Вони замкнули очі і сплять якийсь час  
ідучи, поки не ляжуть на все на »шляху  
смерти«.

---

Душевне отупіння покидає їх на хвилину.  
І в їх душі прокидаються бажання, що вьжуть  
їх із життям.

Ось одна людина з босими, фіолетними ногами угледіла нараз на хмарах над деброю вогонь.

З заіскреними очима показує його товаришам.

Три товариші біжать там, де вогонь видять.

І падають на хмари над пропастю.

І хмари проковтують їх, як море зерна піску, як вічність хвилинку.

---

Здається, що ні боги ні темні сили не мають відваги дивитися на цей образ людського горя й починають засновувати його густим серпанком снігу.

Небо, хмари, гори й людські тіні — все зникає й обертається в одну безконечну мраку, сіру, як життя, сумну, як смерть.

Здається, світ поволі зісувається в якусь бездонну прірву.

---

З безодні виринає срібно-біла хмарка.

Як сонна мрія знімається над ними і пливе на стрічу понурій тьмі небес.

Ні, це не хмарка...

Це якесь дивне ество, що спочував людському стражданню.

Це садинокий ясний, добрий дух.

Він запитав когось у чорних хмарах:

»Чому велиш серцю тіней ще слабо битися?

Розбий те серце на шматки!

Хай воно не кривавиться останніми каплями крові!«

— — — — —  
— — — — —  
— — — — —

Що це?

Здається мені . . . . переді мною . . . . якесь дивне, змарніле дерево . . . . дві тонкі . . . . всохлі гіляки . . . .

— — — — —

Ні, це людина.

Він підняв руки до неба.

Чого він підняв руки до неба?

Чи він молиться?

Чую шепіт:

»О, жорстокий, жорстокий! . . . .«

Я глянув на його руки і здригнувся.

Ні, не гляну на свої . . . .

Знаю: і мої такі.



Нараз чогось так жаль мені стало наших рук.

Так жаль кожної людини, що тільки й на те думає, щоб терпіти.

Жаль усього людства, що в пеклі світової війни так тяжко карається.

Щось підступило мені під горло.

Щось тиснеться до очей.

Ні, ні, ніхто не побачить їх . . . .

Вони всі же виплакані.

Очі висушли, замерзли.

— — — — —  
Де ти, Василю, мій друже єдиний?

Ти упав серед снігу.

Чи ще живеш?

Чи вже більш не чуєш болю?

Чи вже глядиш із недосяжних висот на мене?

— — — — —  
— — — — —  
— — — — —





## I.

Штранцінґер, який ішов зі своїми шістьма товаришами на кінці довгого ряду, станув.

»Що тобі?« питав Добробський, котрий у цій хвилині вів його.

Штранцінґер мовчав і тільки притискав міцніше до себе скрипку, яку весь час ніс із собою.

Його скрипка — це було все, що воєнна доля йому лишила.

Куля забрала йому очі.

Його мати з болю вмерла, а його суджена скочила в ріку й ніхто її більше не бачив.

Він дізнався про їх долю й від того часу онімів.

Замкнув увесь біль у темряві своїх очей і свої душі і скамянів.

А може він у пісні скрипки бачив день, бачив бодай один промінчик сонця й вузьку, синю смугу неба?

Але люде чули тільки один раз пісню його скрипки після смерти його матери і його дівчини.

І була це пісня, від котрої навіть ворог заплакав.

»Хто покине його?« застогнав Ніколич.

»Не йдім далі. І сили вже в нас немає. Уміраймо тут.«

Шість товаришів стануло.

Злякалися, бо перший раз від довгого часу почули Шранцінґерів голос, який вийшов із його уст, як із нутра землі.

»Ідіть! Я тут остану.«

Добровський обізвався:

»Ми з тобою останемо. Товариші, так?«

Кождий мовчки кивнув головою.

»Але вмремо не від сербської кулі«, воркнув Сабо й затиснув зуби та блиснув дико очима.

Старий сербський стражар приступив до них.

»Наперед!«

»Мовчи!« крикнув Сабо.

Серб ізмірився до вистрілу, але Сабо вдарив його палкою по голові.

Серб упав.

Живий, мертвий?

Байдуже.

Сабо забрав від Серба кріс із патронами.  
Не найшов у його торбі ні зерна хліба.  
Копнув його ногою й Серб покотився в дебри.

Сабо взяв сліпого Штранцінґера за одну руку, Ніколич за другу і всі сім відійшли на бік від »шляху смерти«.

Станули й оглянулися кругом.

Куди око не гляне, з усіх усядів заглядає смерть.

Ізза гори на крайнебі виповзли із таємних глибин землі дивовижні облаки-страхіття і ще більше місце сонця заступили. Виглядали мов казочні опирі. Отворили великанські, червоні, наче в крові скупані паці, щоб кинутись на гори й пожерти їх разом зі сімома живими вствами.

Бо як посміло життя заблукати в цей цвинтар природи?

На кілька кроків від них гірський хребет спадав стрімкою стіною в безодню.

Вони глянули на широке море хмар під собою й на верхи гір, які здіймалися понад хмари, як величезні могили всього буття.

Ніде ні сліду людського життя.

Всюди замерзлим, бездушним трупом простелилася ледова пустиня.

А колиб десь далеко найшлась альбанська хижа, то вони не малиб сили зайти до неї.

Тай що з того, якби й зайшли?

Замість гостинности вони найшлиб на порозі тієї хати смерть із рук диких Альбанців.

Щось невимовно понуре шепче їхній душі, що їм уже не вернутись до життя.

Їх очі доганяють товаришів, яких вони покинули.

І велика туга за ними й за життям, як останнє полум'я погасаючої свічки розгоряється в їх душі.

Перед ними сунеться поволі довгий ряд тіней.

Повзе, як великий, розтоптаний хробак, який останніми зусиллями вверчується в сизу млу, щоб там супокійно сконати.

Вони простягають руки за товаришами.

»Чекайте! Чекайте!«

На їхній голос гомонить понура відповідь із яруг:

»Чекайте! Чекайте!«

»Не йдім за товаришами«, кличе Сабо. Там нас гибіль чекає. Я маю кріс. Шукаймо аль-

банської хати.. Тепер буде десь пізно з полудня. Як не найдемо нічого, то може вдасться нам яким чином розпалити вогонь. Може хтось у ночі побачить наш огонь і прийде до нас» ...

»Вовки прийдуть . . . .« бовкнув Добровський.

Ніколіч думав:

»Може й люде прийдуть . . . .«

»Люде?«, питав Добровський. »Люде для нас гірше вовків« . . . .

»Щоб витримати до вечера й через ніч, мусимо мати хоч іскру якоїнебудь надії« . . . . падькав Ніколіч.

Добровський відповів:

»Одинока надія — якесь чудо або наші люде.

Та не такі нуждарі, як ми . . . . Але« . . . .  
Замовк.

Пускаються в дорогу, щоб зійти з гірського хребта, пірнути в сіру млу і пройти крізь неї на землю.

Може там глибоко в низу є життя й людське серце.

---

Однак усі зусилля даремні.

Праворуч і ліворуч тільки стрімкі обриви, по котрих і дикі кози не булиби в силі збігти в долину.

Після довгого блукання вони бачать, що перед ними стелиться тільки один-одніський шлях, яким пішли їх товариші.

Де вони?

Розтоптаний хробак уже зник на крайнебі в морі мли.

»Не можу йти... не можу стояти... Ноги тремтять... тремтять...« шепче Бояні.

Сідає на сніг.

Важка втома тягне других живосилом до долу.

»Не сідаймо«, кличе Сабо, »це смерть!«

Та дарма.

І він сідає разом із другими.

Тільки Добровський стоїть і шукає чогось у темних хмарах, на горах і в густій млі над дебрами.

Здається, що його вухо намагається вловити якісь звуки, котрі тільки він сам чує.

— — — — —  
Ні, ні.

Ніхто й нічо не відзивається на голос болю й туги їхнього серця.

Здається, що вся природа заперла дух і прислухається до кроків таємного великана, що тихо йде верхами гір.

То знов ховається по безоднях, щоб люде його не бачили й не чули його кроків.

— — — — —  
— — — — —

Серед незбагненої, безконечної, могильної тиші доходить до їхньої душі, як останній сон, якийсь давно вже замерлий голос із далеких, соняшних країн.

І тихесенько гомонить і брентить, як мушка в зеленій, сонцем леліяній траві.

Наче споза сумерків віків... з безкраїх засвітів... ізза океану вічності... ніжно... мрійно... тихесенько... гомонить:

»Тату... тату... сину!...«

— — — — —  
— — — — —

Вони стрепенулись і глянули на себе.

Всі тремтіли в лихоманці.

Бояні лебедів:

»Огонь... огонь... огонь...! Згинемо без огню.«

Недалеко нашли присипаний снігом корч.



З великим зусиллям одчімхали галузки та відтяли його при самім корінні.

Та як розпалити вогонь замерзлими, зеленими галузками?

»Виймайте Шекспіра, Гете, Канта! Вони нам тут придадуться«, глузував Добровський.

Але ще три дні тому вони мусіли спалити їх.

Сабо глянув із призирством на скрипку Штранцінгера.

»Те тарахкало придалосяб дуже на — вогонь«... шепнув.

»Дай спокій«, відповів Добровський.

Оця скрипка — це його очі«...»

Кожний відтяв сухий шматок зі своєї одежі.

Однак огонь погас.

Сабо почав із якоюсь дивною рішучістю:

»Щоб огонь горів, не вистарчить кілька онучок. На це треба цілого убрання.«

Добровський глянув на нього допитливо:

»Відкіля взяти цілого убрання? Коб тут іще був труп Серба«.

Сабо відповів зі спокійною жорстокістю:

»Незабаром знайдеться між нами не один труп менше або більше... Одначе треба, щоб це сталося вже скоріш...«

»Як ти це міркуєш?...« шепнув Ніколіч і з жахом подався взад.

»Віддирання шматків одержі безцільне. Сентиментальність — смерть. Тверезо думати! Сяк чи так один із нас найскорше згине...«

В поглядах товаришів вичитав Сабо мовчазне і трівожне питання й відповів:

»Ну, ... як уже слід мені висловитись виразно, то ... один із нас мусить умерти...«

При останніх словах Саба нова струя морозу, студена наче смерть, нагло прошибла душу й тіло товаришів. Щось нараз наче обвалилося в них і з румовищ якась несамовито люта сила почала скоро, скоро вимітати марні останки життя й надії.

Блудними очима глянули на Саба, котрий сам наче злякався своєї думки й мабуть у бажанні злагодити її вражіння додав після короткої мовчанки:

»Для загального добра.«

Добровський глянув йому бистро в очі й вицідив поволі, крізь зуби:

»Для загального добра — гинь ти!«

»Ні, я ще хочу жити. Але наш товариш Бояні радо згине. Його свідомість ледві вже блимає. Знаєте, що він забув навіть своє ім'я. Бояні, як тебе звать?«

Бояні став лебедіти, начеб усі останки його душі були на його устах:

»Я хочу жити... хочу жити«...

»Жити ми хочемо всі. Та кому в голові те, що ми хочемо? Ми мусимо! Хто хоче мусіти?«

Настала лячна мовчанка, серед якої вони старалися розібрати цю жахливу думку у своїй гарячкою виснаженій свідомості.

»Хто з нас пожертвується добровільно для других?«, напірав Сабо, повторюючи все на ново свою убивчу гадку.

---

»Я« перервав мовчанку сліпий.

»Я« пронеслося глухо з уст Пшилуського.

Оба вони все мовчали.

Здвалося, що вони тепер на те тільки й відзискали мову, щоби попрацатися з життям.

Добровський сказав:

»Ти стань собі на боці, Штранцінгер. Ти святий. Нічия рука тебе не торкнеться.«

»Але що з тобою . . . . Пшилуський?« нагадував Сабо, котрий помітив, що другі, здається, годяться з його лячним наміром.

»Маєте кріс«, відповів глухо Пшилуський.

»О Боже! Не дивімся на добровільну жертву наших товаришів! Пождім! Доля сама вирішить, кому з нас найскорше вмерти«, падькав Ніколіч.

Всі зрозуміли.

»Хто з нас найслабший?« питав Сабо і глянув на Боянія.

Бояні затремтів і його сині уста ще більше посиніли.

»Я даю ось яку раду:« сказав Сабо.

»Не сміємо згинуть з морозу, заки розпалимо вогонь. Наше тіло, те прокляте стерво, вже зовсім деревіє з морозу.

Будемо бігати і скакати довкола цього корча.

Біганням ogrіємося трохи, тоді — про мене — роздираймо наше дрантя на вогонь!

Але як я впаду й не матиму більше сили, тоді плюну на дальше нужденне життя. Тоді здеріть із мене убрання й живіть!« . . .

Тут Сабо викривив уста з якимось дивним глумом і додав:

»Взагалі: хто з нас перший упаде і вже встане, цей стане нам усім у пригоді.«

Німих жах охопив їх.

І хоч безтямною грозою проймала їх оця думка, начеб кося смерти устрягла їм у мозок, все таки всі вони чули, що незабаром один з них мусить перший згинуть.

Так мусіло бути!

---

Без найменшої тині спротиву почали людські скелети, замерзлі з морозу, смертельно випрані голодом, бігати і скакати довкола ярча.

Лиш одна думка вводила в рух їх закостенілі ноги:

»Скачи, скачи і витримай... а то може твої власні товариші тебе добувають!«

Шранцінґер стояв на боці, пізніше ходив чотири кроки вперед, чотири назад.

Спершу могли всі ледві рухатися, після вже ходили жвавіше.

Ніхто не хотів zostавитися позаду других, щоб не показати, що він найслабший.

І було видно крайню напругу їх останніх сил по дико заіскрених очах, по судорожно затиснених зубах, по напучнявілих жилах на чолі, на висках і на шиї й по барві лица, котре з землисто-темного і брудно-сірого ставало чим раз більше фіолетним.

— — — — —  
— — — — —  
— — — — —

Нагло якась дивна сила прикувала мої ноги до землі.

Руками я заслониw спершу очі, потім кулаками став бити себе по чолі.

Хотів розвіяти затьміння, котре в цій хвилі насунуло на мій мозок або вбити правду, що станула мені перед очима.

Бо нагло видалось мені, що мої товариші щезли і якісь дивні марева вищирили очі на мене . . .

І нараз якесь шалене бажання огорнуло мене:

Упасти, впасти, впасти трупом на місці або скочити у провалля!

Убити, розтоптати цього черва, що імя йому свідомість! . . .

Я станув над берегом обриву й дивлюся  
в глибину, повиту сірою мрякою.

Сто кроків під моїми ногами спить біла,  
склublена, застигла мла.

Біле ложжа з великими, круглими, м'якими  
подушками . . .

Це біле ложжа манить мене до себе, так  
манить . . .

— — — — —  
Але ні.

Як зоветься та сила?

Залізним ланцом скувала мене з заду й  
не пускає . . . .

О ні, життя не має ціни для мене.

— — — — —  
Кажеться в казці: вони за сімома горами,  
за сімома ріками . . . .

Та вони десь так далеко, за таким океаном,  
що йому ні кінця ні краю немає . . .

Там вони обоє.

— — — — —  
Та проте я аж тут їх чую.

Чую маленьку ручку за собою на шиї.

Тепер ця ручка вже більша.

Яж її два роки не видів!

Ці дві істоти...

Ні, я мушу жити!

Відвертаюся від безодні і довкола корча  
скачу, скачу....

Га, га... я скачу...

— — — — —  
— — — — —  
— — — — —

Нараз Добровський кинув дикий проклін,  
опісля став позирати з дивним глумом на  
товаришів.

Зареготався і крикнув:

»Он воно як! Панове, я бачу, що ви — гу-  
ляєте! Ха, ха, ха! Ось чого вам закортілося!  
Ну — нівроку... Значить, до танцю треба,  
звісно, музики...

Я вам заграю на цимбалах.»

Став несамовито кламцати і скреготати  
зубами.

Оця музика Добровського рилася у стріво-  
жені серця товаришів, як діявольський глум  
і нагадувала їм смерть.

»Перестань!«, закликав Ніколіч.

— — — — —  
Добровський пригадав собі, як колись  
аранжував танці на балях.



Усміхнувся, як усміхається смерть і запитав:

»Невжеж ми останні, щоб на нашій забаві бути без аранжера? Ба, а деж наші дами? Невже нам гулять без дам? Уявім собі, панове, скільки балів відбувається тепер на світі, який ми давно покинули. Скільки розкішних дам крутиться в цьому менті на те, щоб марно прогуляти своє життя! А ми тут гуляємо, щоб наше життя назад вигуляти! Напружім нашу хору уяву, схильну тепер і так дуже скоро до привидів і галюцінацій і не один із нас матиме може забаву з чудовою дамою. Ха, ха, ха!»

- »Добровський, ти, здається, збожеволів«, пробурмотів понурим голосом Сабо.

»Може бути. Та я вам одно скажу: ви всі збожеволієте, лиш я сам заховаю ясний розум, бо в мене, здається, занадто твердий череп на такі тонкості, як видіння й божевілля. Це мені дуже прикро. Ви може побачите балеві дами очима, а я, здається, тільки душею. Однак очима душі я більше побачу від вас.«

Замовк і глянув далеко перед себе.

Стояв хвилину задуманий, опісля говорив:

»Не боюся нічого. Та не розумію, чому ця мертва тиша кругом нас і ваша мовчанка мене чогось бентежить? Усе здається мені, що серед

цієї залятої тиші нагло щось блисне і вдарить, як грім. І вбє Штранцінгера за це, що він стоїть такий байдужий, вас за те, що ви такі сумні, мене за те, що я сміюся... Отже доки в мене ще трошки сили, мушу забалакувати ці дивні почування в собі... Я у своєму нужденному життю дуже мало говорив. Та тепер, супроти обличча смерти, чую потребу поговорити трошки... Буду словами полокати свою душу й балакати, балакати, кричати і сміятися, ха, ха, ха! Та й маю я дещо сказати світові за себе й за вас...

Панове! Більше доброго тону! Більше елеґанції! Не позирайте так із під лоба, як темна ніч! Хай дами вичитають із ваших усміхнених мін, що ви хочете засипати їх компліментами.»

Показував товаришам елеґанцію і граціозність танцю.

Дивна суперечність між його добірними сальоновими рухами й між його обшарпаними, брудними латами, покритими снігом і засохлою кровю!

І як би вони були у світі життя й сонця, то може булоб і дивно глянути, як його уста, все складені до іронії і глуму, ціле його запале, бліде й зелене лице з довгою, розчіхраною, ри-



Де ваші лякери? Де ваші фраки?

(Поза м. жами болю.)



жою бородою і з вусами, наче дві розмикані мітли, силкувалися виразити приємну, солодку й готову до компліментів міну сального льва.

»Панове, ви причепурилися не по бале- вому. Не маєте поняття про хист, як і чим по- добатися дамам і як їхнє серце здобувати. Де ваші лякери? Де ваші фраки? Де ваші гладенькі, товстенькі й оголені обличчя? Ви хочете своїми обідраними, обвислими лахами насліду- вати фраки? А де, панове, головна річ для дам: ваше тіло? Це непростима легкодушність із ва- шого боку, панове, що вам закортілося з вашим »я«, яке важить у кожного 38 кільограмів, за- бавлятися в товаристві балевих дам! Невже ви, легкопері й заморожені панове, хочете служити товстобоким мамам за холодильця? Вам зібра- лось на охоту залицятись до жінок тіль- ки своєю голою душею? О, ви, дурні . . . . pardon . . . . скелетні ідеалісти!»

»Я чхаю на всі жінки«, промимрив Сабо.

З іронічним спочуттям дивився Добров- ський на кожного товариша.

Зупинив очі на Пшилуськім і крикнув до нього:

»Пане Пшилуський! Мені дуже прикро, але ваш фрак занадто старосвітський. Замість двох видно на нім аж тринадцять хвостів!«

Думав хвилю, опісля засміявся так, наче би відкрив якусь щасливу думку і кликнув:

»Це нічо... це нічо... чудово... Панове! Ви самі й не догадались... Адже ми справляємо собі масковий бал, якого ще світ не бачив... Та все таки причепуртеся трошки, панове, відгорніть руками ласкаво сербсько-альбанське національне майно, що так густо по вас лазить, бо я почну представляти вас. Хай перед вами стануть дами зі самого цісарського придворного балю! Просіть їх до танцю і притискайте міцно до своїх замерзлих грудей, а вони вже вас нагріють куди ліпше, чим не знать який огонь.«

Бояні й Ніколіч, які весь час дивилися на Добровського, наче приковані його очима і словами, витягнули руки, начеб хотіли пригорнути когось до грудей.

Їх виснажені обличча, несамовита усмішка, та ще більше рухи-обійми їх рук наповнили мою розболену свідомість

наглим острахом. Я відвернув очі від обох товаришів і шукав в очах Саба успокоєння. Одначе він так понуро дивився, начеби в найблищій хвилині мало все завалитися. Я звернувся до Добровського, однак не був у силі промовити до нього. Мов поражений стояв я й мене мучила тільки одна думка: чи Добровський зійшов із розуму, чи ні? І наче спогад із ви́рїяних країн і одночасно мов холодний жах із замерзлих, понурих печер рилися в мою душу слова Добровського:

»Ясновельможні дами! Маю за честь представити вам одно вельми цікаве товариство сімох людей, котрих доля вирядила в далекий світ по ділам смерти. Серед шляху нам, вибачайте, знудилося і ми справили собі між небом і землею, серед хмар і снігів вельми романтичний баль, на котрий маємо честь запросити вас, ясновельможні дами. Прохаємо перейти ласкаво зі своєї золотосяйної цісарської палати до нашої балевої салі. Вона теж дуже гарна й далеко обширніша від вашої. Її стеля — безкрає небо, її стіни — сніжно білі скали, її поміст — замерзлий сніг, білий, як ваші вельможні декольте. Ми маємо чудову музику й оригінальний буфет, який різнитья від вашого

буфету лиш оцею дрібничкою: не ми його, але він нас хоче пожерти.»

Закламцав зубами й показав недалеко безодню.

»Мое імя доктор Добровський, людина, що не робить собі нічого ні з голоду ні з холоду ні з життя ні зі смерти і сміється, вибачте, ясні дами, трошки і з вас, розуміється, в межах пристойности.

Пан четар Штранцінґер . . . .«

Тут урвав і глянув на сліпого товариша, що стояв на боці, байдужий на всі радощі і, здається, на всі болі.

Дивився на нього й на його сліпі очі й нагло вхопився за горло, опісля закашляв, наче хотів прогнати щось, що вийшло з душі і здушило йому горло. Стрепенувся й казав далі:

»Оцей пан, що тепер дивиться в сторону нашого буфету, зоветься пан четар Пшилуський. Все нахмарений, якийсь червяк його точить, мабуть погнівався з кимось тай завдає собі, сіромаха, через те великого жалю. Дітвак. От що! Пані будуть ласкаві з чисто гуманних причин, ну і для власної приємности (це головна річ), закрутити йому голову, а то манколія його зість. І прошу не дивитися криво на нього за



те, що його балевий стрій не зовсім по моді, але ви, здається мені, догадуєтеся, з якої це причини . . .

Пан доктор Оглядівський. Гуляє нині ма-  
буть перший раз у життю. Дуже вразливий на  
тепло жіночого серця, особливо в сьогоднішніх  
зимних часах. Але шукає того тепла тільки у  
своєму родинному гнізді. Докажіть йому  
ясні дами, що й деінде є теплі кубелечка . . . .

Пан четар Сабо, дикий син угорської пу-  
сти. Великий і небезпечний заведія . . . Дама,  
що його покорить, отримає найвищу медалю.

Пан четар Ніколіч, сентиментальний моло-  
дик, чиста потіха для вас, високі дами.

Пан четар Бояні, дивна людина, що на-  
слідком різних неприємностей в Альбанії за-  
була своє ім'я. Хорий, виснажений, в гарячці  
нахилився над студеним потоком, щоб напи-  
тися води. Та замість зачерпнути води в шапку  
або у пригорщу він цілий шубовсть у воду! Ми  
його витягнули, але він забув забрати з води  
своє ім'я. Постарайтесь, ласкаві дами, щоб він  
назад собі його пригадав, а то жадна дама не  
зможе стати йому законною жінкою.»

»Бояні«, крикнув Добровський, »твої уста  
дуже посиніли. Обійми кріпко найкращу

прінцесну й цілуй її рожеві уста голосно і пристрасно доти, доки твої безкровні уста не запашать огнем.»

Бояні обняв воздух перед собою й цілував міцно, аж ляскіт було чути.

Добровський дивився на нього й говорив більше до себе ніж до других:

»Чому я нічого не бачу? Невжеж ілюзія не для мене? Хібаж усе життя не ілюзія? Заздрощі мене беруть...«



Добровський скакав, як навіжений.

Пристанув на хвилину і глянув на чорне небо та в дебру. На його обличчі боролися біль і гордість чоловіка, що кинений у прірву буття, відчуває всю грозу своєї безсильности.

Засміявся глумно й закликав:

»Хотівби я розбити скамяніле небо і скинути всіх богів у цю безодню. Хай би боги, царі і всі можновладці, що кинули людство у прірву світової війни, перейшли оце пекло мук, у якому люде караються! Хай би вони самі відчули й пізнали бездонну глибіню людського страждання!

Тоді боги сталиб людьми, а люде братами.»

---

Кожда тінь старалася наслідувати несамо-  
виті скоки Добровського. Це було тяжко і вда-  
валось тільки Сабові, котрий після Добров-  
ського мав ще найбільшу силу. Але на корот-  
кий час інстинкт життя показався так мо-  
гутнім, що всі скакали з однаковим розмахом.

Мов сонні марева, що душать сплячого  
й виривають із його груди крик жаху, так ви-  
глядали їх обличча підчас танцю.

Серед тих облич, подібних до обличча  
смерти, лиш очі мерехтіли дивним огнем і без-  
межнім бажанням життя.

Слабий усміх тих очей і їх огонь ізза цього,  
що танець ізбуджував надію до життя, стано-  
вили тим яскравіше противенство до завміра-  
ючого лица.

---

Сабо почав із ознаками злобної нетерпляч-  
ки дивитися на своїх товаришів.

Глянув на мене.

Здавалося мені, що його очі так і питали:

»Колиж уже . . . один із нас . . . ?

Доки будемо чекати?»

В першій хвилині я мав вражіння, що це не мій товариш глядить на мене, а смерть.

Я хотів крикнути, як кричить кожда людина, котру мучить чорна мара, але схаменувся й запанував над собою.

»Ти думаєш«, казав я до нього, »що я не зумію так гуляти, як ти? Ось поглянь!«

Я став скакати так само, як він.

А щоб дати ще більший доказ, яка в мене сила й бадьорість, хоча смертельна втома й жах мене мучили, я тремтячим, замерлим голосом заспівав веселу народню пісню.

— — — — —  
— — — — —

Сабо відвернувся від мене і став тепер скакати все напроти Боянія та дивився йому вперто й визиваючо в очі.

Ледві живий Бояні, який ще слабо переступав з ноги на ногу, все спускав очі, бо за кожним разом, як поглянув на Саба, смертельне тремтіння проймало його.

Але й зі спущеними очима чув він у своїй слабій свідомості, як погляд Саба клався кам'яною плитою на ціле його тіло й забірав йому останки сили.

Вкінці Бояні зважився спитати його слабим голосом:

»Чому так дивишся на мене, як сатана?»

Сабо не обіззався, тільки ще більше вплялив у нього свої убийчі очі.

Боянія опанувала тепер лиш одна думка: хай нагло, в одну мить, мов блискавиця, щось ударить і раз на все загасить у нім усяке почуття болю, боязни й терпіння.

Він задивився на наймогутнішу гору і тремтить, мов блудний огник серед п'їтьми та шепоче :

»Хай упаде . . . роздавить . . . кінець . . . супокій . . . .«

Раз у раз повторює ті слова.

Нараз йому здається, що могутня гора розгортає чорні хмари й суне просто на нього.

Він хоче кинутись на землю й чекати, аж гора впаде й роздавить його.

Нагло побачив перед собою очі Саба.

Спотикнувся й упав.

Божевільний жах його обхопив, що не гора, лиш людина несе йому смерть.

Це додало йому нової сили .

Зірзався, як малий хлопчина, наче мяч відбився від землі і став, гуляючи, кричати:

»Вона мені ногу підставила. Але я її копну . . . копну! . . . Ха, ха, ха!«

---

Копав її і посував у напрямі кручі.

---

Шалений танець найслабшої тіні наче разив других.

Навіть Пшилуський, котрий здебільшого стояв над прірвою й шукав її безмірної глибини, пустився в танець і все з понурим виразом лица кричав:

»Проч від мене, розпуснице!«

Кождий старався закричати чиїсь кроки, що поволі, глухо, зловіщо вже наближалися.

Це був крик людей, що в густому ірраді о півночі хочуть прогнати від себе щось, що серед заклятої, таємної тиші чатує й ось-ось кинеться на них.

Бояні сміявся: »Я її пхнув у безодню«, Ніколіч белькотав: »Ти моя, ти моя«, Пшилуський: »Геть від мене«, Сабо кляв по мадярськи, Добровський скреготав зубами, а я повторяв раз - у - раз, сам не знаючи, чому: »Сонце . . . сонце . . . «

Тільки Штранцінґер стояв осторонь, наче статуя й мовчав.

Як перекотиполе, гнане бурею, як соломки на хвилях розшалілого моря, так кидалися людські тіні в дикім танці життя і смерті.

---

---

Їхні смертельно-тривожні обличчя, похожі на брудно-сірі, зелені й фіолетні черепки із глини, які ось ось розсипляться, їхнє дивне гукання та дика, душу роздираюча музика Добровського будить почуття, що нараз земля розступиться під ними й небо впаде на них.

Щось невідоме, як тайна буття, безмежне, як вічність, визирає з їх очей і з кожного їхнього руху.

Що це?

Маленька іскра.

Вона росте й вибухає могутнім огнем, який обіймає всесвіт. Всесвітній огонь життя горить над всесвітньою безоднею нічогости.

Хто переможе?

---

---

Нараз мені здається, що моя свідомість знаходиться десь навні поза мною.

Сон, чи божевілля?

Чи якесь явище, можливе тільки тут, у цій темній западні?

Щось кружляє мені коло вуха й силкується втиснутися в середину... якась жахлива муха... вона несе смерть...

І в брентінні тієї мухи чую раз-у-раз:

»Ніколи... ніколи...«

Відганяю рукою цього потвора.

Та в найближчій хвилі знов чую зловіще брентіння...

Тікаю на край кручі і вичерпаний, безсильний, сідаю.

І знову вона брентить і гуде, як далекий, невгомний гомін похоронного дзвона:

»Ніколи... ніколи... ніколи«...

---

Але згодом те несамовите брентіння й гудіння віднімає мені почуття жаху й успокоює мене.

Я починаю радіти, що ця потворна муха, цей демон, бог, діявол, цей хтось знає, що ми тут, що люде тут.

Значить, десь у пеклі, а може на небі, в безодні... десь під хрестами на цвинтарі... десь у сумній пустці безконечній є ще хтось, є ще щось, що думає про нас...:

Пусте, байдуже, що таке думає...

Але думає про нас....



.Може це наша доля?

---

Доле, доле!

Невже з цього хаосу не вернути нам назад до життя, на шлях сонця?

Яка сила в тому мертвому світі зуміє вирвати нас із цього замерзлого пекла?

Нема такої сили.

Немає нікого.

Бог прокляв нас.

Демони тільки ждуть на нашу загибель.

Всі великі й добрі сили відцуралися нас.

А може єсть іще на небі . . . в воздуху . . .

на землі які маленькі, ангельські єства, що мають якунебудь цілющу силу?

Може ці маленькі ангели моглиби врятувати нас?

Може . . . . . ах!

Сину, мій сину маленький!

Молися, сину, молися за батька!

Може твоя молитва невинного ангела пробє скамяніле склепіння небес.

Бо тяжко твому батькові, ох, коб ти знав, сину, як йому тяжко вмірати, не побачивши тебе в останне.

---

Нараз Бояні заплакав і закликав:

»Мамо моя! Де ти?«

Перестав скакати і плакати та задивився в дебру і його очі шукали чогось по сірому морі хмар.

Почувши плач Боянія, Добровський сказав:

Коли з тебе мущина, чоловіче, то ніколи не плач!

Я побалакаю для приміру з дамою, що була колись моєю милою.»

В цій хвилині Пшилуській, що стояв на боці і з якимось болючим отупінням дивився перед себе, обернувся до Добровського.

Перший раз його німа байдужість розвіялась і він із якимось таємним зацікавленням упер свої очі в Добровського та став його слухати з такою напругою і з таким скупченням усіх своїх сил, начеб найблище слово Добровського мало йому принести визволення або смерть.

Одначе Добровський не помітив цієї дивної уваги Пшилуського й говорив:

»Так тямлю мою останню стрічу з нею, що, здається, бачу цю жінчину тепер перед собою.

Ласкава пані! Ви мене не пізнаєте, бо я замаскований. За крихітку тепла вашого серця я віддам вам увесь огонь, який так і бухає вульканом із цілого мого »я«. Цей огонь у мені так жагучий, що я хотівби пригасити його трошки струєю сліз. Та на жаль, мої сльози замерзли. Я йду в далеку дорогу, з котрої ніколи не верну. Подайте мені на пращання свою біленьку й пухеньку ручку. Не хочете? Ви злякалися моєї руки? Кажете, що це рука кістяка? То позвольте себе поцілувати, так, як я колись вас цілував. Ви крикнули з остраху. »У вас замість обличча мертвецькі ями«, кажете. Адже ви знаєте, звідкіля у мене мертвецькі руки і щоки? З грому гармат, із тяжких ран душі й тіла, з голоду й розпуки вони. З геройської боротьби за ваші товстенські щоки й руки, за ваші золоті намиста й жемчуги.

Та коли я гинув серед куль у ямі, вам не стало терпцю ждати на мене.

І ви кинулись на шию гладенькому галапасові, котрий ніколи навіть пороху не нюхав.

Тямите, як я, загартований жовнір, плакав перед вами?

А ви відповіли на мої сльози:

»Іди собі — до чорта!« ...

Від цієї хвилини я ніколи не плачу, тільки сміюся, сміюся й кепкую собі з життя й зі смерти.

Однак моя душа все плаче за втраченою вірою в жінчину і в людину.

Під маскою у мене тільки душа. Тіла у мене немає ....

Але ви не побачите моєї душі й не вчуєте її плачу, бо тільки душа може побачити, відчути й розуміти душу.

Ви тікаєте від мене?«

Тут Добровський обернувся до товаришів і кричав:

»Дивіться, з яким призирством вона відвертається від нас! Не плач, Бояні, не плач перед сальновою дамою, бо її ніжні уста скривляються з відразою самички на вид твоєї слабодушности. Не сльози, не душу, покажіть дамам тіло, мясо, обвинуте наймоднішими платтям, обвішане блискучими світильцями й підшите все рухливим, солоденько-змісловим, безмізким пустомельством! Тоді жінки будуть вічно ваші — на короткий час....«

Добровський обернувся знов у сторону своєї колишньої милої й запитав її:

»Не скажете навіть одного слова на вічну розлуку ?

Га, кидаю на вас найтящий проклін: хай вам доведеться погуляти так само, як нам ось тут«.

Замовк і блукав очима по скамянілому морі мраки.

Може шукав там весни своєї душі ?

---

Серед виру танцю, крику й почувань тяжко ставало розібрати, де кінчився розум, а починалось божевілля.

Бояні, смертельно вичерпаний, не міг далі скакати.

Стояв і дивився в безодню, а його очі блукали по застиглих хмарах.

Однак мороз примусив його знов скакати.

Зробив кілька кроків і упав.

Тепер не був уже в силі зірватися легко на поги.

Боровся довго з божевільним виразом очей і ледві підвівся навколішки.

Клячучи глянув знов на море хмар і нараз його очі заблисли радісним огнем, а його уста усміхнулись.

Він простяг руки до далекої блідо-синьої  
мраки й почав кликати:

»Пальмо, пальмо!....

Вже рік я тебе не бачив....

Як я тішуся тобою!....

Хтось під пальмою на морі....

Човен відбиває від берега... в нім си-  
дить... — Боже!... — моя мати!...

Гляньте!...

Вона пливе прямо до мене....

Мамо, я, твій син, я тут!...

Я не буду ждати.... Скочу в море....

Я попливу тобі на зустріч...«

Останнім зусиллям зірвався на ноги і при-  
біг на край безодні, щоб кинутися в глибину.

Але Сабо, що пильно слідкував за ним,  
ухопив його миттю поперек і не допустив до  
скоку у провалля.

Бояні впав на землю.

Не міг уже встати.

Жах, розпука й божевілля кричали  
з його уст:

»Смерть!.... Смерть!.... Боже!....  
Зглянься!....«

Вони всі станули довкола нього, понурили  
голови й мовчали.

Благальними очима дивився Бояні на кожного товариша.

А коли його погляд зустрівся з очима Саба, він прошибаючим голосом закликав:

»Мамо моя! . . . Рятуй мене! . . . Рятуй мене! . . . ця людина хоче вбити мене« . . .

»Не думай так про мене, товаришу. І з мене людина«, сказав Сабо і глянув на Боянія очима, в яких замерехтіло сяйво спочуття.

Коли Бояні побачив іскру людяности в його очах і почув його теплі слова, велика ясність засяла в його очах і на обличчі.

Він витягнув до Саба свою руку, що подавала на марний, брудний кусник леду й озвався до нього мягкими, лагідними словами :

»Любий Сабо, подай мені свою руку!

Тепер я не боюся смерти.«

Кілька хвилин його очі дивилися на товаришів супокійно й погідно, майже радісно, наче кусник синього неба, що показався несподівано над землею серед дикої боротьби стихій.

Нараз якась тінь лягла на його обличчя й він обізвався тремтячим, ледві чутним, уриваним голосом;

Прошу вас, товариші: як побачите мою матір... як моя мати питатиме вас за мною... то скажіть їй, товариші, скажіть їй, що... що ви мене ніколи не бачили... й ніколи не чули... нічого про мене»....

Коротке хлипання струснуло ним.

»Ні, ні... товариші... не кажіть їй так... перекажіть моїй матері... о, Боже... що мені бідному їй переказати...?»

Привітайте її гарно від мене і... скажіть їй якесь... любе, добре слово від мене...

І скажіть їй, товариші, що я вмер... у теплій хаті... на білій постелі....«

Всі останні сльози закрили йому очі у глибоких ямах.

»Прошу вас, товариші.... допоможіть мені встати....«

Товариші підняли його .

Синьою, опухлою рукою обтер очі.

Глянув на сірі хмари й закликав здивований і розчарований:

»Нікого не бачу...

Невже я у сні бачив матір?...

Мамо, не пливи до мене!...

Бо як побачиш мене... то серце тобі з болю трісне...



Будь здорова, мамо... й не плач дуже...  
за мною...!»

Товариші поклали його легенько на замерзлий сніг.

»Зимно мені... зимно... зимно...

Прошу вас, товариші... добийте мене...  
хай я... довго не мучуся...»

Добровський потішав його:

»Не бійся, товаришу. Ти зараз заснепи  
і весь твій біль мине.

Незабаром ми всі заснемо і всім нам разом  
із тобою буде добре.»

Незадовго Бояні заснув і — було йому  
добре.

Його мати таки прийшла до нього.

І у сні не чув він болю, не видів смерти,  
лиш усміхався радісно, бо його лице чуло  
биття серця в теплій матерній груді.

— — — — —  
— — — — —  
— — — — —

Вони стягнули з трупа товариша убрання  
й розпалили вогонь.

Довго слухали вони мовчки шипіння  
вогню з похиленими головами.

Їх душі полинули в далекі країни.

Осінньою рососою падали на вікна білих хат.  
Незримими ангелами вітали в кімнатах  
над людськими головами.

І цілували їх на привітання й на про-  
щання.

---

Після довгого мовчання вони глянули на  
трупа товариша.

Лежав висохлий, тонкий, наче тріска.

Його грудна клітка наче роздерла блідо-  
зелену шкіру і ребра дивилися сумно, наче  
голі жебраки, на чорний, понурий світ.

Набресклі фіолетні ноги й руки відбивали  
дивно й лячно від цілого тіла.

І його посиніле лице опухло.

Але смерть не встигла стерти з нього радіс-  
ної усмішки, яка наче розлилася по цілім  
обличчі й дала йому лагідний, милий вираз.

І здавалося їм, що його застиглий усміх  
ніби говорив до них:

»Товариші, тепер я щасливий...!«

І як дивилися на мерця, на устах кожного  
блукало невимовлене питання:

»На кого прийде черга тепер?«

---

Важке мовчання перервав Добровський:  
- «Оце має бути людська доля! Вродилася людина, плакала, сміялася, співала, навчилася ходити і причимчикувала, сердешна, аж сюди, щоби після найстрашніших мук покластися тут у тій проклятій ледовій пустині на спочинок.»

»Та проте він лежить усміхнений«, замітив Ніколіч, глянувши на нього.

»Ця усмішка — це мабуть іскра щастя... хвилинка божевілля серед безтямного болю дала йому цю іскру«, завважав Добровський.

»Невжеж і нам присуджене таке щастя?«, питає Ніколіч і здригнувся.

---

Добровський дивився довго й нерухомо в огонь.

Однак його очі, здавалося, не бачили вогню.

Вони блукали по глибоких нетрах його душі й наче шукали чогось.

Вкінці він поглянув через огонь у спокійну, замерзлу даль і сказав наче до себе самого:

»Прокляте те життя, в котрому слабший мусить згинуть, щоб душий міг жити«.



## II.

Вони сидять довкола вогню й чують, як нове, давно забуте життя, починає струєю литися в їхні жили.

Шипіння вогню вражає мило й солодко їх уха, як пестливе щебетання дитини.

Вони не-промінялиби слів огню за найкращі мелодії чудової музики, бо вона булаб тепер тяжким роззвуком для їх замерзлої душі.

Пісня палахкотіючого вогню будить почування й думку.

Наче в'язні з тяжкої тюрми вони тікають зі зболілої душі.

Мов птиці у вирей вони летять у далекі країни.

Уява, що прагне тепла і світла, дивно їх малює.

Ні сніг там не біліє, ні мороз не тисне, ні людські сльози там не ллються.

Вічний мир і тихе щастя там царюють.

Синє небо нахиляється з любовю над зеленою землею.

Там усе благословенне літо красується, там вічно сонце сяє.

А те сонце так велике й могутнє, що пів неба заступає.

І так любо гріє, так розкішно пече . . . . пече . . . . !

Світло безбережною повинню розлилося по зелених полях, завітчаних лугах і по селах, що ховаються в зелені садів, ніби зі сонцем у піжмурки грають.

І ясне проміння лягає відпочити на верховіттях темних лісів.

А там на блакитньому крайнебі, під задуманим, темним лісом, на зеленому рядні буйних трав синє повітря в розкішній жарі сонця тремтить . . . тремтить . . .

Сонце любить людей. Сходить із неба й ховається в їхній душі.

І де є серце, там сонце світить.

Люде ховаються між білими квітками в зелених травах, сміються до сонця і благословляють його.

Та деякі люде не хочуть одпочивати на сонці.

Беруть маленькі діти на руки і йдуть у сад і сідають у тіні вишень і яблунь.

---

Понад сніжно-білі шпилі гір, понад скамянілі сизі хмари душі тіней мостять шлях і тим шляхом за щасливими людьми в країні сонця свої думи, свою тугу шлють.

І зникають безкраї простори, розвівається сиза мла і країна сонця виринає, як ясне видіння перед тінями і мріє на крайнебі перед ними . . . . .

І крізь серпанок проміння і мрії очі бачать: хтось сидить із похиленою головою... хтось клячить і руки до неба здіймає... хтось дрібний лист пише... хтось очі обтирає... маленький хлопчик дивиться комусь пильно в вічі... певно питає:

»Мамо, коли тато до нас верне?«

---

---

---

Нараз усі мрії схоловав, наче пташки, дивний і тривожний голос сліпогр:

»Не тікайте від сонця! Не ховайтеся в тіні!«

Злякався власного голосу і прокинувся з просоння. Сліпими очима глянув із зачудуванням на товаришів та трівожно запитав:

»Де ми?«

Вони здригнулися.

Здавалося, що душі безлічі людей, котрі лежать на безмірному цвинтарищі буття і в могилі ще страждають, вийшли з могили о півночі й питають:

»Де ми?«

---

Я глянув на його обличчя.

Воно так виглядало, начеб не було вже з цього світу.

Хоча цій людині було доперва двадцять чотири роки, то її сліпі очі, її зеленаво-землисте, глибокими ямами й морщинами пооране лице, посивіле буйне волосся зробили її старцем.

Колись у його великих і гарних, мрійних очах ясніли іскри молодости й запалу до високих поривів і змагань.

---

Ні, неможливо, щоб ця людина мала на віки вічні бачити тільки тьму перед собою.

Чому миш, кртиця, гадина любить ся  
світлом сонця, а людина ні?

---

Здається, що віки вже протекли, як  
це було.

Гарматні кулі розривають землю і людей.

Кругом нас пекло, божевілля, смерть.

Кожна людина вмірає тисячу разів в одній  
секунді.

Він один лежить у ямі супокійно.

А його очі — о, не забуду ніколи  
його очей!

Вони дивляться так лагідно й любо кру-  
гом, наче хочуть несвідомо зворушити скамя-  
ніле небо безмежньою добротою і красою люд-  
ського серця.

І хочуть показати темряві всесвіту й лука-  
вости богів невміруще сонце й надію люд-  
ського духа.

---

Та тепер у нього темні ями замість очей.

Жорстокість людей і неба видерла йому  
ці добрі, лагідні очі!

Ціла його постать, покрита безліччу діра-  
вих лат, його висохлі пальці на синіх руках —  
все те становить не образ, а втілення якогось



так невимовного, бездонного горя, що немає слів, немає людської мови, щоб його висловити.

Я дивлюся на нього й біль коле гострими шпильками, як мороз, мою свідомість.

І гаряче спочуття до нього запалює моє серце.

Мій любий, сліпий брате!

Твій біль, заклятий у вічне мовчання, порушить, здається, холодне каміння, а не зворушить лукавої сили на небі ні на землі.

Чому мої руки безсильні вивести тебе з цього ледяного гробовища?

Чому ми всі тут такі безпомічні, а ти, святий брате, найнещасніший між нами?

---

І дивне бажання охоплює мене:

Якби я був можновладцем, царем, Богом, впавби в порох, у сніг, у болото на землю перед оцею людиною на дні буття, цілувавби її ноги й руки і прохавби її прощення за всі незмірні муки, в які я її кинув своїм самолюбством і жорстокістю!

Я, цар, Бог, плакавби перед ним, як дитина через те, що я на невинний цвіт його весни оклав зиму старечости й руїни, знищив йому ромінь світла і його духа для майбутніх по-

колінь і кинув його наче грудку землі, мов камінчик, як пилінку жорстоко, безцільно на поталу заглади й нічогости!

Та ні.

Навіть грудка землі, камінчик, пилінка, темна пустака безодні — вони мають якусь ціль і призначення.

На грудці землі зерно зійде, камінчик до рогу вистелить, пилінка заступить світло чоловікові, безодня спинить йому шлях і пожере його.

Якуж ціль, яке призначення має він, я і всі ми ось тут?

Хто мені на те відповідь?

Де тебе шукати, небесна сило?

Чи в опарах людської крові?

Чи в димі світового пожару?

Чому так байдуже глядиш?

— — — — —  
Чому проклято мовчиш?

— — — — —  
Та Бог, замерзлий цвинтар природи й навіть сама смерть — усе оглухло й онімело.

І моя замучена, окривавлена душа блукає, мов сліпий жебрак чорними, бездорожними пустаками й даремно питає:



Пшилуський застогнав, упер очі в огонь  
та понурив глибоко голову.

---

Я глянув на сліпого товариша й затремтів.

Навіщо я питаю товаришів за рідню?

Я не смів питати...

Адже він усе чує....

---

Здається, що він уже переболів страшну  
долю своєї рідні і свою власну.

І сидить тепер, як живий, скамянілий па-  
мятник на гробі свого власного життя.

---

Не буди його болю, що спить.

Це був би злочин... злочин...

---

»Коли моє тіло замерзало«, казав Ніколич,  
»то мій дух тільки про те й думав, як уряту-  
вати життя. Тепер мені трошки тепло. Та що  
з того? Важкий камінь лягає на душу й давить  
давить. І не знати, що більш болюче: чи мороз,  
чи біль і туга за людьми, котрих уже, здається,  
не побачу ніколи.«

---

Глянули на сліпого товариша, що сидів  
тихо й був наче без душі й довго мовчали.

З яруги перед ними виринула знов біла хмарка і знімається в гору, поволі, легесенько, наче лячно їй, що серед заклятого спокою й омертвіння природи лише вона одна уявляє собою рух і життя....

І омліла на своєму шляху й висить нерухомо між небом і горами.

---

Ніколіч глянув на шлях, яким усі вони прийшли сюди.

Далеко на небосхилі появилася велика, дивно таємна тінь і поклалась поперек дороги, яку люде витоптали у снігу.

»Товариші«, шепотів Ніколіч, »подивіться там... на цю дивну тінь на нашому шляху... шлях і тінь поперек... це хрест... великий, могутній хрест...

Що значить цей хрест...?

Що він означає?«...

---

Дивилися мовчки на цей понурий хрест і прислухалися до зловіщого шепоту душі...

---

Не знаю, чому цей таємний хрест на шляху нагадує мені біг часу?

---

Який день сьогодні? Я вже не знаю.  
Час перестав уже існувати для мене.  
Немає для мене будучности, не стоїть за мною минувшина.

А теперішність?

Це кривава точка межи двома вічностями.  
Це рана, що росте чим раз більше в глиб і в шир і своєю блідою кровю закриває мені все майбутнє і все минуле.

Може це правда, а може це тільки так мені здається:

Вже минуло, а може небаром мине три роки, як мій син прийшов на світ.

Де ти, мій сину, тепер?

Не смію питати, чи ти здоров, бо не знаю навіть, чи ти живеш, моя дитино.

Як легко булоб мені на серці, якби я знав, що ти, сину, разом із матерю, що ви обоє живете здорові.

Тоді я не почувавби себе тут таким нужденним і опущеним, хмари не видавалисяб мені так понурими, ледова пустиня не булаби для мене така студена, така безкрая.

Бог і люде прогнали мене від себе, покинули, забули мене.

Моя душа роздerta тисячними ранами, моє тіло кинене повільній і певній закладі на поталу — ось як, сину, довелось мені, твому батькові, святкувати твої родини!

Коли думаю про тебе і про твою матір, сину, то боюся, що розпука доведе мене до божевілля, коли я ще досі не збожеволів.

Скажіть мені, люде: де вони обоє?

Чи вони живуть?

Даремне питання.

Мої товариші убогі, нужденні так само, як я й не знають нічого.

Мовчать гори, мовчить снігова пустиня, мовчить буйний вітер, не віє з далекої України.

І ти, моє серце, засни!

---

Та проте як дивно!

Всамім куточку мого серця притаїлося щось.

Воно мале, марне, бліде.

Це надія.

Може неприятель, який заляв мій край і вдерся в мою хату, пригадав собі, як побачив мого сина на руках матери, що і йому довелося покинути жінку й дитину й ця згадка спасла мою дружину з дитиною від ганьби і смерти.

---

Лиш одно мене лякає.

Чорна змора мучить мене днем і ніччу.

Все стає мені перед очима жахливий образ смерти, який я бачив у Мункачі.

Боюся назвати по імени цю страшенну пошесть.

Не можу дивитися на тих жовнірів із запалими, почорнілими обличчями.

Вони висідають із поїзду, який привіз їх сюди з моєї рідної землі.

Ніхто не сміє приступити до них, привітати їх.

Лиш пес біжить їм на стрічу.

Хтось крикнув... хтось стрілив, пес жалко заскавулів і тікає.

Звіря мусить заплатити ранами за своє прив'язання до людини.

Бо навіть собака не сміє зближитися до хорих на холеру, щоб їх привітати.

Жовнірі кладуться на землю біля поїзду і вються в судорогах.

Вкінці хтось являється й успокоює їх...

Смерть.

Може.... моя дружина з сином....

Ох, зимний піт виступає мені на чоло....



Геть від мене, пекельний привиде!

Не муч мене довше!

Люде, люде!

Тяжко мені, тяжко!

---

Та хоча ця змора доводить мене до божевілля, то я таки не можу повірити, що ти, сину, вже не мавби жити; не може мені в голові поміститися думка, що твої рученятка, які колись так міцно обнімали за шию батька, вже застигли і спочивають непорушно в холодній, сирій землі.

Ні, ти живеш, мій сину, разом із матерю.

Так, ви обоє живете.

Я цілую твою маленьку головку, мій сину й желяю тобі, щоб ти ніколи не зазнав долі свого батька.

А як виростеш великий, не будеш тужити за мною, як я за тобою, бо не зможеш пригадати собі, що й ти колись мав батька й бавився та сміявся на його руках.

Мати скаже тобі, що твій батько згинув на війні і ти будеш із пошаною згадувати мое ім'я.

А як запитаєш матері, де моя могила, то мати скаже тобі зі сльозами, що твій батько

спочиває десь далеко серед буйних степів великої України.

Ані мати ані ти, мій сину, ви обоє не знатимете, що я не лежатиму в нашій рідній українській землі, тільки десь далеко на чужині вовки-сіроманці розірвали й рознесли мої кости по альбанських нетрах, покинутих Богом і людьми.

Будь здоров, сину мій — на віки.

---

На віки ?

---

А може я тебе й матір знов побачу? . . . .

Ах, що це за думка?

Я тебе й матір побачу . . . .

Яка чудова мрія!

Я тебе й матір побачу! . . . .

Невжеж це не божевілля 'думати про те, що зі світового пекла, в яким усе людство карається і з цієї холодної безодні, в котрій я тепер гину, я вийду живий і знов побачу вас обоє живими і здоровими?

---

Давно вже це було, як я, сину, отримав останній лист від твоєї матери.

Написала мені, що коли запитала тебе, де тато, то ти глянув своїми синіми оченятами задумано далеко перед себе, показав своєю малою ручкою кудись і сказав:

»Там.«

І тепер, скоро тільки гляну на оцю чорну гору, що понуро і грізно бовваніє переді мною, то все здається мені, ніби чую, як ти говориш:

»Там«...

Ох, сину мій!

Там на тій горі сидить смерть і вже простягає свої руки по мене.

---

Доле, доле!

Облекши мені мій безтямний біль!

Хай я бодай у сні побачу мого сина на руках моєї дружини!

Колиж мені таки судилося вмерти тут, то хай я перед смертю збожеволю й бодай у хорій уяві мрію про своє родинне щастя, до которого ти на все мені затріснула браму; доле моя!

---

---

»Я не тужу за ніким«, сказав Добровський. »Проклинаю цілий світ і серджусь на-

віть на своїх родичів. Навіщо вони привели мене на світ? Невже це нужденне життя варте того, щоб його цінити й за ним тужити? Не світить сонце нам ось тут, то взагалі не світить. Та найбільш болюче те, що в людській душі погасло світло ідеї. Сучасна війна обнизила людей до рівня найдикших звірів. Найдикше озвіріння охопило тих муштин, які ані разу не конали в огні боротьби. Та вже в найглибшу безодню душевної гнилі впала найбільша частина женщин, які своєю брехливістю, облудою, жорстокістю й безмежною жадобою гроша та своєю все свіжою різноманітністю пологої розпусти перейшли тисячу разів найдикшого муштину — хама. За що ми боролися? Яка ідея цієї світової війни? Я вам скажу. Ми проломали сербський фронт і сунемо, як море вперед. На сто кроків передімною бачу ось яку картину: на землі лежить сербський жовнір, а мій капраль бє його обома руками раз-у-раз у лице. Підходжу близько й виджу, що Серб уже давно мертвий. Розлючений кричу до свого капраля:

»За що ти бєш у лице трупа?«

»За те«, каже він, »що ця сербська собака не має ні сотика в кишнях«.

Ось вам ідея всякої війни! Ось вам образ людської душі!« ...

Ізза великої втоми мені приходилось тяжко говорити. Та все таки я мусів запитати:

»Добровський! Що ти зробив із тим капралем?«

»Я пустив йому кульку в лоб.«

»Отже тебе аж надто обурило людське озвіріння. У твоїй душі, значить, і в душі багатьох людей живе ідея людяности й добра. Ця ідея — це покищо іскра під попелом людського самолюбства і звірячости. Та прийде час і ця іскра вибухне могутнім огнем і спалить до тла попелище ладу, опертого на звірячій боротьбі людини з людиною й народів із народами.«

»Як що попіл не загасить перед тим цієї іскри«, сказав Добровський.

»Ось тут між нами«, озвався Ніколіч, »заступлені австрійські народи, котрі так себе ненавидять і поборюють. А проте ми, їх сини, спочуваємо собі тут наче брати. Ми тут уже здійснили ідеал братньої прихильности й любви.«

Добровський мовчав хвилину, опісля озвався з гіркою іронією:

»Яка ідея привела нас в альбанські нетри? 45.000 трупів невинних батьків і синів на шляху смерті! Якій ідеї потрібні наші муки й наша смерть? Вона вже тут на нас чатує. І ще нині нас усіх задушить крайно трусливим і жорстоким способом!

І не умremo ми навіть так званою героїською смертю, тільки погибнемо тут наче сліпі щенюки, кинені у стухлу, замерзаючу саджавку! І як що сюди заблукають колись ситі прогульковці, то про наші кости заговорить найперше наприклад така дама, у котрої буде замість душі здоровий, питльований книш, який її так розіпре, що вона буде похожа на ходячий тілесний бомбаст.

Ця жіноча діжа смальцю зашкварчить;

»Ті кости не роблять на мене вражіння ні як пережиття ні як літературна тема.«

Хвилину думав Добровський, потім зітхнув ;

»Тяжко конати серед грому їранат, серед голоду й холоду, а ще тяще жити серед нікчемности й хамства сучасних людей. З цієї причини я, товариші, присягаю вам; коли яким чудом застане хтось нас тут іще живими і схоче рятувати нас, то я скочу

в дебру. Я не хочу назад вертати в озвірілий світ.»

Знов замовк, опісля глянув на хмари й на товаришів і сказав:

»Якби я був найвищим еством, яке сплодило світ і життя, то дивлячися на діла своїх рук і на ваші муки, я запавсяби зі сорому на саме дно пекла.

Маю тільки одно бажання до життя: заки засну, хотівби наситити клятий шлунок невеличкою мискою якої небудь теплої страви.... І колиб я був Шекспіром, то сказавби тепер щось, похоже на оце:

»Десять царів за один український пиріг....«

---





### III.

Доки їх тіло, сціплене морозом, боролось при допомозі вогню зі смертю з зимна, доти всі інші болі наче сховалися в тіні й чатували на догідну хвилину.

Та тепер, коли тіло в часті огрілось і слаба струя крові почала трошки правильно кружити по жилах, вони після останнього слова Добровського здригнулися.

Почули, як старий страшний гість, голод, став нагло з незвичайною силою стукати до їхньої свідомости.

Адже вони від десятиох днів не взяли нічого до уст!

Кожного з винятком Штранцінітера й Добровського вхопив корч шлунка, так що мусіли з болю качатись по землі.

Коли перший приступ болю трошки успокоївся, вони почали вже тисячний раз на ново



нишпорити по карманах. Хотіли найти бодай одну порошинку хліба або чоґо небудь не на втихомирєння, а на хвилеве одурєння убивчого почуття голоду. Всі шукали, тільки Щтранцінґер сидів усе нерухомо, супокійно й бай-дуже, а Пшилуський дивився вперто в огонь і з його лица пробивався вираз великого терпіння.

---

»Я вже найшов. Іджте«, сказав Сабо й показав кількадесять тисяч корон.

Розказував, як дійшов до тих грошей, хоч вони не були цікаві на те.

»Ідемо альбанським селом. Ми всі вже три дні нічого не їли. Можна купити поганого кукурудзяного хліба, але нема грошей. Приступаю до одного капітана, що мав коло себе грубі скарбові гроші. Його обовязком було рятувати своїх бідних людей.

Він усе був ситий, все щось їв і ремиґав, мов корова тай такий вам грубий і тілистий був, що аж його розпірало. Здавалося, що він ось ось трісне й забере нам одиноке добро, яке нам Господь іще оставив: чистий воздух. Трісне й затроїть нам його, як величезна, пересичена й розтоптана блощиця.

»Пане сотнику«, кажу йому, »просимо вас слухняно, позичте нам по кілька корон, а то доведеться з голоду здохнути.«

Не хотів ні чути про те.

»Здихайте!«, квікнув, »я не дам не сотика!«

Я собі міркую: »О, чекай, небоже, відпокутуєш ти мені це гірко«.

В горах я підглянув догідну хвилю й вирвав йому гроші з рук. Він замахнувся й хотів ударити мене, але я собі нічого... тільки оттак... делікатно його штовхнув... Він, неборака, замість упасти собі трошки на землю і встати, вибірає вам довгий шлях і жене стрімголов у безодню... Га, га! Як моє серце раділо, коли я дивився, як він, сіромаха, собача личина, котився по стрімкій збочі! А які елегантні і граціозні вихиляси й викрутаси при тім виводив! Кажу вам: із нього справжній сальоновий лев... То знов скакав, як заяць або як дика коза. А квапився, що не дай Боже! Видно, хотів чим скоріш пожалітись Бельзевубові на мене за мою нечемність і за брак воєнної дисципліни. Хай йому земля пером на дні пекла!

Тьфу на нього!

Розкинув гроші по воздуху.

»Сховай гроші«, казав Добровський, »бо з тебе, небоже, великий грішник і як у пеклі не зєднаєш собі грішми протекції у пані Бельзебубихи, то в пекельнім огні житимеш може так само гірко, як тепер тут.«

Кілька банкнотів упало на поли його плаща. Сабо дивився на них довго, спершу байдуже, опісля з якимось таємним зацікавленням. Нараз його очі блиснули несамовитим блиском, у якому замиготів непогамований гнів. Він кинув дикий проклин, опісля мертвецькими пальцями вхопив, якби був несповна розуму, один банкнот і оглядав його якийсь час витріщеними очима. Нагло кинув папір із блискавичною скорістю в уста й почав його роздирати зубами й зажерливо жв'якати. Його очі, наче блудні, виступили йому з глибоких ям, якби самі хотіли докладно приглядатися, яким чином людина може вдати штуку їсти гроші наче страву? Його запале, землисто-сіре лице напучнявіло й по його рухомій набрескlosti було видно, як паперовий вузлик у його устах мандрував то сюди, то туди. Увесь вираз його обличчя уявляв собою жахливу картину нужди, скажености й божевілля. Підчас того, як Сабо кусав і жвав завзято паперові

гроші, він гарчав несамовито, наче скажений пес, який даремно обгризає засохлу костомашу.

Товариші позирали на нього зі спочуттям, то знову з переляком. Тільки сліпий не знав спершу, що діється й сидів байдуже; Добровський дивився на Саба найперше з зачудуванням, відтак якийсь час із легкою іронією. Вкінці став говорити:

»Яка з тебе дитина, Сабо. Ти береш на себе неабияке завдання: дуже оригінальним способом ти хочеш розв'язати соціяльне питання. Річ ніби проста: зїш гроші і таким чином тобі вдасться знищити капіталізм і одночасно втихомирити голод. Це не зла думка«...

»Не глузуй!« скреготав зубами Сабо. Несамовиту лють і радість чую при роздиранню цих онуч. Мені здається, що я нищу, мордюю всю ту світову зволоч, всю грошеву й к—ську господарку, через яку ми тут мусимо так нужденно здихати!«

При тих словах кусав іще більше заїло грошевий вузлик і здавалося, начеб як раз тепер він проковтнув одну його частину.

»Що за чудо«, кепкував Добровський далі. »З тебе став нагло великий ідеаліст! Одначе ти своїм ідеалізмом придбаєш собі тільки біль

плунка. Ти не зміниш нашого нужденного світу. Отже будь розумний і перше: дбай, як кождий статочний горожанин, про своє здоровля; друге: щади гроші, бо уста — це дуже лиха щадниця. А як яким чудом вирвешся з нашої безодні живцем, то поміркуй, скільки можливостей життєвої насолоди ти будеш мати, як капіталіст:

За гроші буде юрба качатися перед тобою в поросі й болоті; грінши відбереш людині честь і життя; за гроші станеш Гібральтаром лицарськості й чести, хочби ти був і найбруднішим плюгавцем; за гроші держава зробить тебе ексцеленцією. Невже це не гарно звучить: ексцеленція Сабо! Та найкраще, найсолодше, ба короною творіння буде оце: за гроші найкращі, найбільш чудові жєнщини, мужатки, дівчата, молоді, католицькі, православні, протестантські, орієнтальні — всі будуть вішатись тобі на шиї.»

З роздертими шматками грошей в устах, із широко витріщеними очима, кричав Сабо, як навіджений:

»Виріжу, вимордую всі ті дурноваті ексцеленції, всіх тих дипломатів, воєнних

горлаїв, грошопасів, які напиваються, як опирі кровю здитинілої людськості!»

При тім Сабо випльовував шматки і здавалося, начеб він тепер трохи втихомирився.

Мовчки глядів на тисячкоронівки, що лежали довкруги нього й ніби думав над чимось. Нараз він вибухнув сміхом якоїсь дикої радості, начеб йому впала в голову якась щаслива думка. Уперто позирав на банкноти на землі і крикнув:

»Ви аристократичні конячі черепи, ви дипломатичні й воєнні лицарі-розбишаки, ви, золотом обвантажені дики, ви, струпішілі тайні радники! Я кличу вас на суд! Вашим суддею буде найбільшій, найголодніший, найнужденніший пес. Чи звісно вам, як цей пес зветься? Сабо!»

Тут Сабо глумливо уклонився і ще раз плюнув. Опісля вхопив тисячкоронівку, держав її обома руками собі перед очі й питав грімко:

»Як ваше чесне імя, ви високопоставлений державний кате людства? Га, га, га! Зі смертельної тривоги перед суддею Сабом ви забули язика в роті . . . . Це ви той державний керманіч, цей трусливий хам, який найбільше при-

чинився до того, щоби зробити з усього світу страшенну різницю! В імени мільонів зарізаних вами людей засуджується вас оцим на смерть.»

Сабо взяв один кінець банкноту в уста й роздирав його зубами й пальцями на дрібні кусники, котрі падали на його брудний плащ.

Підчас того, як він випльовував шматки паперу, що лишилися в його устах, Добровський сміявся до нього словами:

»З тебе моторний козак, Сабо. Твій гнів і твоя роль як найвищий трибунал дають мені справжню душевну насолоду. Але зберігай справедливість навіть супроти найнищих злочинців.»

Тут Добровський перейшов з товарисько-глумливого тону в пародично-патетичний і сказав далі:

»З цієї причини прошу Вас, пане Судде Сабо, понехати супроти своїх делінквентів Ваше високошанібне плювання...»

Сабо вже тримав перед очима другу тисячкоронівку і питав насмішкувато:

»А це що знов за один, із яким тепер маю честь?»

І сейчас відповідав сам аристократично-носовим тоном:

Генерал кавалерії граф Х представляється слухняно.«

»А, пане Генерале, лицарю ордену Марії Терезії! Ви є цей, що наказав цілому мому баталіонові брати приступом, без артилерійного підготування, сербську гору, що аж кишіла від дротяних запор і від машинових крісів. А весь огонь артилерії ви наказали звернути з заду в плечі бідних небораків і при помочі сербського вогню знищили ви до ноги свій власний баталіон! Лиш я сам одинокий остав на те, щоб ви, пане Генерале, станули тепер тут переді мною на суд. Тремтіть переді мною, пане графе, тремти, ти к. к. каналіє, ти бестіє в людській подобі, ти . . . ти . . .«

Зі скаженою люттю він кусав, гриз, жвав банкнот і судорожно розривав, роздирав його пальцями.

З жахом позирали товариші на нього й навіть сам Добровський, який мав охоту кепкувати, мовчав.

Сабо вхопив свіжий банкнот і кричав далі:

»По твоїм запаху сейчас пізнаю, хто ти такий. Значить, представлення зайве. Ти к. к.



воєнний доставець, ти гівно, ти, що з воєнного горя, з крові, з трупів, нужди селян і робітників, з болю вдів і сиріт згоровав собі міліонний маєточок. Я повинен тебе роздерти своїми зубами; на жаль я не можу устроїти тебе в мої уста, бо ти мені занадто — смердиш . . .»

Після тих слів зімняв банкнот у маленький вузлик, обернувся й кинув його в дебри.

Тримаючи перед собою нову тисячкоронівку Сабо говорив:

»Ви, всечесніший пане Черевайку й достойнику, належите до тих, які з очима, все зверненими до неба, просто підтюпцем у пекло чимчикують . . . Ви з проповідниці загрівали людей до різні брата. Що мені з вами почати, Високопреподобний Отче? З вами треба поводитися набожно, як слід такому православному католикові, як я.«

Сабо завернув очі і глянув з великою набожністю на чорне небо.

Опісля взяв обережно банкнот кінцями пальців лівої руки, а правою рукою давав паперові кулаком удар за ударом, доки папір не розлетівся і всі кусники не впали на землю.

Обома руками взяв тепер Сабо новий банкнот і бурмотів:

»Чую якусь горяч у пальцях... Хе, хе... навинулася мені між пальці — баба... Pardon, Madame... Війна зробила мене дикуном... із цієї причини я буду в вашім товаристві поводитися може трошки непристойно... а може навіть дуже грубо... Як вам на імя? Ви мовчите засоромлені, так якби з вас була чотирнадцятьлітня дівчина... Ні, ні, тільки без облуди... Коли ваш муж серед бурі і громів, серед морозу і снігу лежав в огні їранат і в обличчі смерти тільки про вас думав, ви не мали сорому ваше подружнє ложжа гріти разом із якимось лайдаком. Жіноча честь, діти, матерні гордощі — все те було безсильне супроти ваших інстинктів повії, ви, Madame, ти, бруде, ти, суко...«

Сабо приклав банкнот до носа, висякався, опісля відкинув його з погордою далеко від себе, плюнув за ним і крикнув:

»Бруд до бруду!«

Новий банкнот представлявся устами Саба ось як:

»Я... я... його... го... го... Ве... Величність... королівський полководець...«

»А, найпідданіший, найпокірніший слуга Вашої Величності.... Це ви символ оцього хліва, що ним є сучасний державний і соціальний лад. Вас треба живцем спалити.«

»Дай спокій королівському Величеству«, кпив Добровський, »воно майже таке бідне, як ми всі тут. Хай його Величество зволить все-ласкавіше так, як ми, гинути з голоду й морозу....«

З тими словами Добровський перехопив банкнот, який уже летів в огонь і тримав його у своїй руці.

»Кинь його сейчас у вогонь«, кричав Сабо, »а то я буду мусів думати, що й ти належиш до цієї чесної компанії...«

»Ти дуже помиляєшся«, сміявся Добровський і кинув гроші в дебри.

Сабо зібрав розсіяні гроші й кипув їх у вогонь.

Хвилину сидів мовчки й було видно, що чорні думи зовсім насіли його. Нараз підняв стару, зім'яту, на пів роздерту однокоронівку, що одинока зі всіх грошей остала, дивився довго на неї і вкінці сказав з великим жалем і болем:

»Ти, безцінний, нужденний шматку паперу! Ти — це бідний, нужденний пес Сабо. Ти, Сабо, злий і глупий, з тебе негідний, безчесний обірванець, не ліпший від тих, яких ти засудив на смерть. З тої причини мусиш також кинути смертний присуд і на себе самого.«

При тих словах Саба промінь найглибшого спочуття мигнув у серцях товаришів.

Несподівано всі затрівожились, бо Сабо зірвався й побіг над безодню, щоб мабуть кинутись у глибину. Але Добровський скочив за ним і вхопив його за руку.

Хвилю боролись оба зі собою.

»Пусти мене«, кричав Сабо, »пусти мене! Я хочу бути справедливий також із самим собою!«

З великим трудом удалося вкінці товаришам успокоїти Саба й посадити його на його місце коло вогню.

Він сидів, як бездушний.

І його гнів, вся його жадоба пімсти, весь його біль, його каяття, обличча сліпого товариша, труплячі обличча всіх, їх опущеність, понурі хмари, вся нужденність буття — все те нагло продерлося з його душі насильним, придушеним хлипанням.

Всім товаришам було дуже тяжко запанувати над своїми почуваннями.

Тільки по сліпих очах Штранцінгера не можна було пізнати, чи він плакав, чи ні.

Невже божа й людська жорстокість украла йому також його сльози?

---

Нагло сліпий товариш перебив хлипання Саба голосом, який прийшов, здається, з граніці вічності, споза меж добра і зла.

Як дивно великий, таємний, могутній дух, який високо піднявся понад усі блуди людства, понад увесь гнів богів, дух, який усе розуміє і все пращає, так сказав сліпий товариш:

»Люде не є злі ... не є добрі. Люде тільки нещасливі і — щасливі.«

Потрясені тими словами до самого дна душі дивились нещасливі люде на свого найнещасливішого товариша й по запалих, зимних обличчах покотилися великі, важкі, гарячі сльози.

---

Коли вкінці всі успокоїлися, сказав Добровський мягким голосом:

»Товариші! Тепер ми вже не маємо грошей і також не потребуємо грошей. Тепер ми стали справжніми людьми.«

---

Потрясаюча картина болю, яку показала душа Саба, схвильована чим раз більше власною уявою і пристрастю, перенесла всіх назад у світ, у якому вони жили колись і який був тепер для них так далекий, недосяжний, утрачений.

Все минуле їх життя на світі, всі його радощі і вся принада пройшли перед очима їхньої душі.

Після дикого оголомшення прийшла сонливість, задума, мрії.

Знову вони сиділи довго мовчки, доки голод не приневолив їх шукати наново за одробинками хліба.

---

Я перестав обшукувати свої обдерті лати. Мрія понесла мене далеко-далеко.

Святий Вечір...

Моя дружина й мій маленький син у родичів...

В великій, теплій кімнаті ялинка...

На ній повно світла і всього, чого дитяча  
душа забажає . . . .

Вся родина стоїть довкола ялинки . . .

---

Я, обшарпаний, знуждований, окривавле-  
ний, більше труп, чим людина, підходжу ниш-  
ком, тихесенько на пальцях під вікно й дивлю-  
ся в середину . . . .

Моя дружина щось говорить до дитини,  
бере її за ручку й усміхається легенько . . .

Тінь задуми лягає на її чоло . . .

Може вона в цій хвилині згадує мене? . . .

---

Дитина дивиться матері довго в вічі  
й питає її:

»Мамо, чому тата тут нема? Я так хочу,  
щоб тато навчив мене колядувати:

»Христос родився« . . .

Щось мною струснуло, як буря слабень-  
кою висохлою билинкою на замерзлому  
стефу . . . .

»Сину мій!« . . .

Хапаюсь руками віконниці, щоб не  
впасти . . . .

---

Мрака з моїх очей розвівається...

Дружина й син дивляться в вікно, під котрим я стою...

Боже!...

Невже вони обоє побачили й пізнають мене?...

Як мене тягне до них, як тягне...

Там моє життя, там моє сонце, там усе моє!...

---

Але якась важка рука кладеться мені на плечі...

І чую, що я не в силі увійти в середину...

— Хто я? — Я недостойний товариства дружини, сина й родичів...

Вони всі всеж таки щасливі...

А я виджу непроглядну, непроходиму прірву між їхнім щастям і між моєю нужденністю...

---

Ні, я не маю права до цих людей...

Чого я прийшов сюди?...

Це сон... це божевільна мрія хорої уяви, що я колись був людиною... що я жив родинним щастям і радів промінням сонця...



Мені здається, що я віками животів у беззоряній ночі... в темній ямі... між холодними плазунами... і віками там конатиму...

Мене осліплює світло, вбиває тепло, що йде від тих людей на мене...

Та ні...

Я сто разів умру, щоб вони були щасливі.

Та невжеж я, якась несамовита мара зі зледенілих печер, смію увійти несподівано між тих людей і розбити їх тихе щастя різдвяне?

Невжеж мені подоба вбити їм пісню »Христос родився« й видерти їм із грудей крик жаху?

— — — — —  
Ні, хай буде, що хоче...

Не можу, не смію увійти між них.  
— — — — —

Я здушую хлипання, що мені грудь розриває й тікаю від вікна...

І непомітно ховаюся в мого приятеля Гектора...

Гектор пізнає нуждаря...

Скавуть радісно й лиже мені руки й лице.

Я ховаюся в соломі і з жагучим огнем в очах чекаю на страву, яку принесуть Гекторові, батьковій собаці — мому приятелеві . . . .

---

Дійсність: сліпі очі . . . огонь . . . чорне небо . . . голод . . .

Обтираю очі брудним рукавом і знов шукаю одробинки хліба.

---

Дивне диво!

В неприступних нетрах моїх обдертих лавів я найшов пучку пороху, що складався з одробинок хліба, з тютюну, поту і триння з одежі, а серед цього витерту, пожовклу кістку цукру.

Млість ударила на мене.

Спершу я в дикій жадобі хотів те все кинути відразу в уста, не зраджуючи нікому нічого.

Та коли я глянув на картину нужди й горя, яку уявляли зі себе мої товариші, мені стало їх жаль.

Я поділив цей кусник цукру й весь порох на шість частин і ми зіли цукор і з такою божевільною жадобою, якої мабуть ні одна щасливіша від нас людина не почувала й не почуватиме ніколи.

Опісля з пороху ми скрутили й закурили папіроси, а Добровський сказав:

»Після солодкого обіду лицею пристойна папіроска. Все гаразд. Хе, хе, ми, бачу, пошилися в ситі буржуї . . .

Тепер би нам розвести інтересну балачку для прискорення травлення . . . Та про що, наприклад? Про поетів і критиків? Побажатиб їм лиш одного:

»Панове, хай доля пришле вас сюди на науку до нашої школи життя і смерти« . . .

Тоді поети творилиби поезію своєю найчистішою кровю, а не тільки самим чорнилом, як це дуже часто діється. Критики сталиб тут поетами. Для творчої праці за мало самого таланту. Поет мусить пройти найглибше пекло людського буття й найвищі небесні вершини людського щастя. Тоді його слово буде хвилювати, захоплювати, піднімати людську душу.

Та досить.

Я бачу, що ви всі мимо свого славетного обіду не маєте настрою. Видно, що вся ваша духовна сила звернена занадто однобічно тільки на проблем пообіднього травлення . . . . Чи так воно?»

Всі мовчали.

Я сказав, що ми всі дуже ослаблені і прохав Добровського, щоб він балакав за себе й за нас.

Добровський запитав:

»Про щож вам балакати?

Про козмічну ідею у звязку з кусником цукру ?

Чудово.

Отже передусім спасибі тобі, товаришу, за твою гостинність. Ти своїм альтруїзмом, своїм реалізмом із домішкою філософічного скептицизму, своїм привязанням до життя й до його цінностей справді заслугуєш на те, щоб мати природа вирвала тебе з цієї безодні, бо ти твориш позитивний елемент для козмічної ідеї і природа потребує таких осібняків, як ти, на розплід... Та ба! Шукай льоґіки, шукай ідеї у природі, а ледві чи її найдеш у неї, так само, як у жінки... Я зі своїм отруйним песімізмом становлю контраст до тебе й ношу у своїй душі зародок смерти. А ці наші чотири товариші, які творять позитивні або неґативні крайности наших характерів, це за слабкі тіні, щоб утриматись на поверхні життя. — Але —«

Перервав розмову, бо Сабо нараз почав тяжко стогнати, вхопився руками за живіт,

клякнув і припав чолом до землі. Його біль по-ділав, як зараза, на других і за винятком Штранцінґера й Добровського незадовго голо-довий корч у шлунку кидав усіми ними по землі.

Я вився разом із товаришами в судорогах. Мимоволі глянув на них, коротким погля-дом, як миг ока.

Досить, досить...

Цей образ буде ятритися вічною ранкою в моїй душі.

Не можу повірити.

Не вірю, що ці засохлі, замерзлі, зі снігом і кровю змішані купки онуч — це живі істоти... це люди!...

Але до тих купок онуч причіплене щось, що судорожно кривиться й синіє з великого болю і стогне, стогне...

Але цей стогін — це нічо.

Це іскри, що погаснуть.

Це дим, який розвіється.

Одначе ці очі, що більмом божевілля за-ходять...

Ці очі так тиснуть... так тиснуть на чоло!

Хочуть розсадити, розірвати в чолі клітину, в котрій сидить думка...

Бо ця думка — це бич, це рана . . .  
пекло . . . смерть . . .

Як би уосіблена найкрівавша жорстокість  
побачила ці очі, вона — це певне, це певне —  
вона заплакалаб!

Та вона їх не бачить.

Вона сліпа.

Але хтось, що сховався у хмарах, їх  
бачить.

Бачить і каменем сидить на скамянілому  
небі . . .

Його хвилює яблуко Еви . . .

Його хвилює пилінка на носі трутня . . .

А не схвилює його пекло людського болю!

О Боже!

Який ти малий, який ти марний супроти  
людського страждання!

— — — — —  
А може це справді не люде, що так судо-  
рожно вються з болю в поросі і в леді землі?

— — — — —  
Ні, це людські істоти.

Бо тільки людина так тяжко страждає.

— — — — —  
Коли полекшало, Ніколіч почав падькати:

»Я так хочу жити. Не для себе, а для родичів і для науки. Життя таке гарне.« —

Очі Саба блиснули дивно диким огнем. Він дивився на товаришів довгим, задуманим, питаючим поглядом.

Нараз він запитав Ніколіча:

»Чи хочеш дійсно жити?«

»Хочу.«

»Чи всі хочете жити?«

»Всі.«

Ніколіч кинув оком на Штранцінґера й питав шепотом Добровського:

»Чи сліпий також хоче жити?«

»Запитай радше, чи сліпий живе?« . . . відповів по тихо Добровський. »Його дух не живе вже тут. Він ширяє вже далеко від нас . . . . поза межами болю.«

»Я не хочу жити«, сказав придушеним, понурим голосом Пшилуський.

Глянули на нього із зачудуванням.

»Чому?«

Відповів лиш: »Не питайте« і знов засловив свою душу глибокою мовчанкою.

»Чи хочете жити за всяку ціну?« спитав Сабо.

»За всяку ціну.«

»Але як?«, звучало невимовлене питання.

»Як так, то маємо спосіб... гляньте он там!«, сказав Сабо й показав рукою на когось.

Очі ішли за пальцями Саба й зупинилися — на трупі Боянія.

Громом ударила в їх мозок якась думка.

Що він думає?

Невжеж мавби труп спасати їм життя?...

Невжеж тіло товариша малоб їм служити за поживу?...

Це страшенне!

Це нечуване!

Найтаніші глибини душі заворушилися проти цієї думки.

---

Їм стало ясно, що хочячи врятувати життя, мусять їсти тіло свого товариша.

Виникла жахлива боротьба між духом і тілом. З одного боку стануло страшенне почуття, що вони мусять стати людоїдами, з другого боку інстинкт життя, який у боротьбі не перебірає в засобах. Тут обридження, там розпучливий крик шлунка:

»Дай мені все можливе, а то буде смерть.«



Чим раз більш і більше охоплювала їх оця думка, вверчувалася їм у мозок, розшарпувала їм душу.

Не було иншого рятунку.

Всі з винятком Штранцінгера і Пшилуського обернулися в сторону трупа.

Їх очі виступили майже з лоба і стали природно великі, а зі всіх облич пробивалася безмежня жадоба не жити, а втихомирити бездонні голодові муки.

Тільки уста скривилися з відрази, начеб їм судороги вхопили. За те очі, здавалось, хотіли самі полетіти до трупа й пожерти його.

»Чомуж ви ждете?« питав нетерпеливо Сабо.

»Бійтеся Бога, люде, що ви замишляєте?« падькав Ніколіч. »Невже у вас немає серця ні якогонебудь людяного почування?«

»Он воно як! Дивіться, що за чутливий молодик!« сказав Добровський голосом, у котрому тремтіла життєва правда і якась несамовита іронія і глум над усім буттям:

»Ти, Ніколічу, балакаєш, як жовтодзьоб. З тебе нівроку естет...

Невжеж ти не бачив учера, як наші товариші, прості жовнірі, їли тіло свого товариша?

Невже ти міркуєш, що твій плунок сотворений з божеської амброзії, а не з тої самої поганой глини, що мій і кожної другої людини?

О, ти, дїтваку!

Подивися на себе й на мене й на всіх товаришів!

Що побачиш?

Правда? Сама шкура й кости!

А хто зїв наше тіло?

Ну, скажи, небоже! Хто?»

»Нужда«, відповів Ніколич.

»Звідкіля нужда?

Чи ж нам тут так дуже зле ведеться?

Хіба ти вже забув наш нинішній обід і папіроски?

А свіжий воздух, яким нам тут вільно дихати?...

Це пічо? Як?

Отже я тобі скажу:

Наше тіло пожерли найбільші пани світу: царі і грошовладці, а нам оставили тільки шкур'яний мішок із душею і кістьми в середині...

Але це наша власна вина.

Навіщо ми, люде, вбивали людей?

Хто смів нас вести на різню брата?

Чому ми слухали волі темних сил?

Ми здерли з себе людське обличчя і стали сліпим, бездушним, жорстоким оруддям убивства.

Деж була наша душа й наша людська достойність?

Ми самі стоптали її власними ногами.

І це наш злочин.

І за цей злочин мусимо вмерти.

А хто з нас хоче жити, цей мусить їсти тіло з трупа свого товариша.»

»Добровський, як ти можеш так говорити?«, жалівся Ніколич. »Ти хочеш заговорити своє власне обридження, правда, що так? Чи це дійсно така твоя філософія?«

Замість Добровського відповів Сабо:

»Ах, усяка філософія кінчається, скоро тільки шлунок поставить свої домагання. Я не розберу, навіщо тут стільки слів? Не розумію, яка різниця між мертвою людиною й наприклад між мертвим конем або ведмедем? Я, правда, волівби їсти мертвого ведмедя ніж мертву людину, але не з чутливости, тільки ізза ліпшого смаку; мені жаль, що не можу служити вам чимось ліпшим, однак у біді й чорт навіть мухи їсть. Та ба! Тут і мух немає.«

Добровський закінчив тут свої думки словами:

»Наше теперішнє страшенне положення — це залізна, невблагана льогіка і плід злочину нашої душі.

І нема в цій льогіці ні чутливости ні краси...

Але коли ти, Ніколічу, хочеш умерти сентиментально-естетичною смертю, то на те нема ради.«

»О ні, я не хочу вмірати. Мої родичі, моя...«

»А видиш! Ходиж і поможи принести трупа до вогню«, закликав його Сабо.

»Боже, цього я ніколи не зроблю.«

Тут Сабо глузував:

»Значить, ти хочеш їсти заморожене мясо... Це не зле. Це по модернім гігієнічним приписам...«

»Ах, ти говориш, як сатана«, затремтів Ніколіч.

Добровський відповів:

»Ну, не хочете ви йти по трупа, то й я не піду.«

Сабо пішов сам.

Стало лячно дивитись на те, що робитиме Сабо.

Відвернули очі від трупа товариша.

---

Ні одним словом я не брав участі в цій розмові, бо незвичайна, дивовижна жахливість думки Саба розторощила до дна все моє єство.

Ціле моє тіло починає тремтіти і здається мені, що мушу в найблищій хвилині впасти й не устану вже більше.

Ще слабша, ще нужденніша моя душа.

Здається, моя свідомість починає хвилями притемнюватися. Якась червоно-темна мрака заступає мені на хвилину очі й думки.

Все моє єство обертається в нічо.

---

Щось гострим ножем увечується в мою свідомість.

Я чую, що думаю... чую біль... на щось трівожно чекаю...

Я живу...

---

Дивлюся через огонь у понуру даль.

На сто кроків від огню видніє увесь білий, снігом покритий корч, якого дивна подoba вражає глибоко мою уяву.

Цей корч із двома круглими вершками, з котрих горішній і більший нахилений над долішнім, нагадує мені жіночу постать, яка пригортає дитину до грудей.

Я не можу відірвати очей від цієї картини й уявляю собі долю матери з дитиною серед ледової пустині.

Як старанно вона оповила свою дитину...

Як ніжно тулить її до своєї теплої матерньої груді!

Як сумно вона похилила голову!

— — — — —  
А може.... може це не — корч?...

— — — — —  
Може це дійсно мати з дитиною?...

— — — — —  
Ні, це корч...

Алеж яким чином може корч бути так схожий на матір із дитиною?

— — — — —  
Нараз червона мрака обгортає мене і все щезає...

— — — — —  
Відчиняю очі й бачу перед собою спокійне, зледеніле чорне небо.

Нічого більше.

Чую голоси: »Устань« ...

Мої товариші підносять мене, й підтримують.

Їхні руки віддаляються від мене й я знову сам сиджу та дивлюся перед себе.

— — — — —  
— — — — —

Ні... це не корч... не корч...

— — — — —  
— — — — —

Так, так.... це мати з дитиною....

— — — — —  
— — — — —

Небо й земля забули її так само, як нас...

І гине вона ще страшнішою смертю від нашої, бо мусить дивитися безпомічно, без ради й поради на конання своєї дитини...

— — — — —  
— — — — —

Здається мені: вона побачила нас...

Чомуж вона стоїть непорушно?

Ні, вона, здається, хоче ворухнутись, але не має вже сили....

Вона з дитиною замерзає....

Може вона слабим, заміраючим голосом прохає рятунку від нас...

Цить!... Слухай!...

— — — — —  
— — — — —

Здається, я чую якесь тихе ридання і хлипання . . . .

---

Крик жаху розвіяв мої думи.

Сабо прийшов і приніс кавалок тіла з трупа товариша.

Поклав його коло вогню й обтирав полою свого подертого плаща кров на руках.

Сів і впер очі в огонь та сидів наче скамянілий.

---

Нараз щось потрясло ним, як землетрус гранітною скалою.

Поклав праву руку на очі і став їх обтирати брудним рукавом.

Добровський заскреготав зубами, зареготався глумливо і крикнув з якоюсь жахливою іронією, що зморозила стриж у костях:

»Не журіться, товариші!

Тепер собі людське м'ясо припечемо і зімо, сили наберемо і на зустріч сонцю золотому підемо. Ха, ха, ха, ха!«

---

Ніколіч устроїв палицю в кусник тіла товариша, відкинув його далеко від вогню і злебедів тремтячим голосом:



»Хай згину, а людського тіла не буду їсти  
й ніхто з вас не їстиме!«

---

Очима мар дивилися, як із перед них щезала страшна пожива.

Згодом вони стали відчувати вчинок Ніколіча як освободження з якогось несамовито важкого гніту.

У їхнє глибоке мовчання вступила якась дивно святочна хвиля, наче промінь світла прошиб темні нетри душі, як усе діється, коли дух переміг тіло.

Байдуже, чи ця перемога була оwoчeм пересуду й забобону, чи ні.

Може вона не була доцільна, може була непотрібна.

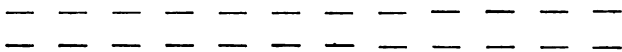
Але вони чули, що була свята, божеська, бо дух людей, що вмірали з голоду, мав силу кинути в жертву й саме життя, щоби поконати, здушити і вбити божевільну пристрасть тіла.

Однак перемога духа коштувала дорого.

На їх тілесну силу, вичерпану до краю тяжкими муками, впав тепер останній удар.

Тільки з крайньою напругою всіх останніх сил вони ще успіли держатися сидячи.

Хоч і як білий сніг їх манив покластися на нього, то проте остання життєва іскра здержувала їх від лежання, бо це булаби смерть . . .



На понурому, чорному тлі хмар показалися непомітно дивні, ясні смуги.

І покрили хмари тут і там біло-сірою ледяною кригою.

Холодна, зледеніла, глуха тиша царила, царить і, здається, царитиме вічно на небі.

Та ні.

Чорні хмари заснувались на краях дивною барвою, наче обкипіли застиглою кровю.

Дух руїни показує своє сонне обличчя.

Воно, здається, ось-ось ізбудиться.

І небо розколеться й темні сили кинуться на землю й розібють у порошок увесь світ.

Склепіння пекла не виглядає лячніше від оцього неба.

І все мовчить, усе спить у темряві не-свідомости.

І здається мені:

Які це гарні слова: темрява несвідомости . . . .

Щасливий цей, що його свідомість спить.

---

І вогонь не шипить уже більше.

Супокійно тлів.

Не хоче мішати великого мовчання оглух-  
лої природи.

---

Відвернули очі від життя і вслухалися  
в безконечне мовчання буття.

---

---

---

І здавалося, що найніжніший шепіт, ле-  
гесенький рух ізбудить когось, що великий, як  
людське страждання, сильний, як життя, мо-  
гутній, мов смерть.

І станеться щось, чого ніхто ні в ясній  
країні казки не чув, ні під сонцем на весні  
не бачив, ні в темній пропасти не змірив.

---

Хтось нараз тихесенько зітхнув.

Хто це?

Сліпий товариш.

Давно ніхто не чув його зітхання.

Здається, що з його грудей прoderся не  
його власний стогін, а тихий біль розпачу яко-

гось ясного духа, що скований і кинений  
у вічну темряву безсильно ридає над давніми  
і свіжими хрестами й могилами людства.

І плаче над могилами, що вже ждуть  
на когось . . . .

Де ті могили?

Чи під тихою церковцею, що сховалася  
в вінку старих лип серед буйного поля?

Чи над синім морем на чужині?

Чи може у хмарах, снігах, ледах . . . .  
тут ? . . . .

Сліпий брате, любий, бідний, що тобі?

---

Висохлими пальцями обшукував замерз-  
лий сніг довкола себе.

Шукав своїх очей — свої скрипки.

Найшов її і, здається, його обличчя  
проясніло.

Чи це чудо — чи смерть?

Його замучена душа наче вийшла крізь  
дві темні ями, звідки колись його очі дивились  
і поклалася на струни.

Спершу руки сліпого тремтіли й закосте-  
нілі пальці не хотіли слухати голосу душі.

І замерзла скрипка хотіла все мовчати, як  
її власник.

І перші її звуки були уривані, захриплі, порожні, начеб вона сердилася за те, що їй не дають супокою.

Але згодом душа Штранцінгера перемогла всю неміч рук, весь опір скрипки.

І у тьму їхніх душ і в мертву пустку замогильну полинула пісня сліпої людини, як сон, що вже ніколи не присниться; як тепла кров, марно пролита; як мандрівка від колиски дитини через соняшні хвилі, через бурю життя людських тіней у незнану, темну вічність; як холодна смерть.

І на крилах пісні душі полетіли перевірити гори й завертати весну і щастя, що вже не вернеться ніколи.

Здавалося, що скрипка сліпого співала пісню вічності і пісня працювала з життям і словами промовляла та ридала:

У безкраїм тайнім царстві  
Зачарованої тиші  
Дух таємний гомін чує:  
Море вічності пливе.

— — — — —  
— — — — —  
— — — — —

В сяйві сонця в синій далі  
Срібний голос лине лине :  
Райська пісенька дитини  
На весні предавніх літ.

— — — — —  
— — — — —  
Дзвони дзвонять...гомін ходить...  
В горах, долах гомін родить...  
Як сон-мрія тихо, тихо  
Стелиться на сонця шлях.

Великодні дзвони дзвонять...  
О, зійди, блакитне небо,  
На зелену землю нашу,  
Квітами умаєну.

Небо землю обнімає,  
Золоті свої проміння  
На людей, на всі створіння  
І в блакить безкраю пле.

Моляться як діти люде,  
З усміхом любови й щастя  
Мов вінком весняних квітів  
Кругом церкви всі стають.

Світло з птьми виринає  
І в далекий світ безкрай  
Величня, могутня пісня  
Враз дзвенить: »Христос воскрес!«

Чайка над очеретами  
Сумно жалко квилить-плаче :  
Мати сина виряджає  
У чужий, далекий світ.

І рідня його цілує :  
»Сину, брате, будь здоров !«  
Верби, явір, срібна річка  
Нишком шепчуть: »Будь здоров!«

— — — — —  
— — — — —  
Молода душа весняним  
Жайворонком в гору лине  
І в блакиті поринає  
І цілує небеса.

І сіда на ясне сонце  
І на ньому спочиває,  
Бистрі думи посилає  
В безконечности простір.

На безмежнім океані  
Бачить вічності крайнебо.  
Що понуро там чорніє ?  
Чи це брама вічності ?

Чорнії могутні скелі  
Духові шлях заступили.  
Там — за скелями отими  
Вічне джерело буття !

— — — — —  
— — — — —

І даремно дух людини  
Тисячліття важко бється  
Джерело буття добути,  
Правду й щастя відслонить.

І притемнений зневірям,  
Важко ранений безсиллям,  
Горді крила опускає  
І на землю в низ паде.

І сміється дико злоба,  
Тьмою землю оповила,  
Самолюбство і жадоба  
Там на брата гострять ніж.

Стогнуть гори, стогнуть доли,  
Кров і сльози морем ллються  
І не дух тьму розясняє,  
Лиш кривавий блиск гармат.

В крові тонуть міліони,  
Міліони душ невинних  
І даремно бе об небо  
Плач, розпука вдів, сиріт.

Де ти, людський духу вічний?  
Глянь, покинули боги нас  
І з людства сміються глумно  
Громами із чорних хмар!

— — — — —  
— — — — —





Чуєте, о любі друзі?  
Хтось у плечі нас торкає,  
Шию обнімає й шепче:  
Я вже тут. — Ходіть!

(Поза межами болю.)



Зашуміли горді крила  
Людського титана-духа  
І у шумі чути голос,  
Мов новітній заповіт :

»Через сльози і терпіння  
Шлях веде до просвітління :  
Хто боровся, скутий тьмою,  
Тому сонце мрія мрій.

Я розвію тьму всесвіту,  
Джерело буття отворю  
І з рук всіх богів лукавих  
Правду й щастя видру сам.

Розваляю храми облуди,  
Пекло й небо розторошу  
І сотворю нове царство :  
Рай людини на землі.«

— — — — —  
— — — — —  
— — — — —  
— — — — —  
Десь далеко, ой далеко  
Очі ясне сонце бачать.  
Де ти сонце ? Де ви очі ?  
Очі, очі ви мої !

Хто мені покаже матір ?  
Усміх милої мові ?  
Ох, ніхто, ніхто — ніколи !  
Очі, очі ви сліпі !

Чуєте, о любі друзі ?  
Хтось у плечі нас торкає,  
Шию обнімає й шепче :  
»Я вже тут — Ходіть !

В тьму беззоряну одвічну,  
В чорну пустку позагробну,  
Морем вічного мовчання  
Вічно я вестиму вас.

І не буде Бог ні люде  
Знати, де могила ваша,  
Ні барвінок ані рута  
Вам на ній не зацвіте.

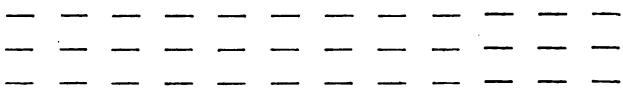
Ні сльоза її не зросить,  
Ані хрест на ній не стане  
Ні на хрест оцей похилий  
Слів ніхто не покладе :

»Тут заснули сном одвічним  
Вигнанці судьби, котрії  
Пекло людського страждання  
За життя уже пройшли.«

Ви все будете вмірати  
І ніколи не умрете :  
В вічність темну, бездорожну  
Піде з вами розпач ваш.

Марно пустку безконечну  
Роздере ридання ваше.  
Бог ні люди вас не вчують,  
Лиш я вчую : ваша смерть.

Я сильна, та за слаба я,  
Щоб убить розпуку вашу :  
Вона вічна, вічна буде,  
Як я вічна : ваша смерть.



Пісня втихла.

Наче скамянілий подих смерти, так застигли людські тіні.

Їхні душі не вернули ще з далекої мандрівки в замогильну безконечність.

Вони блукали по бездорожних, сонних пустарах і тужили і плакали за втраченим життям.

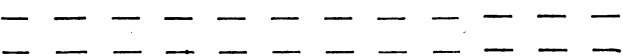
Та ніхто не чув голосу їхнього болю.

Тоді, як із шістьох краплинок води стає одна краплина, так шість душ ізлилося в одну душу.

І була ця одна душа марніша від наймарнішої пилінки, котрою буря гонить безвістями.

І стала ця пилінка-душа велика мов світ, бо сховала в собі біль усього світу.

І могутніша від богів, бо боги не знають терпіння.



Здається, що вони вже на віки сидітимуть  
довкола вогню:

Німі, зачаровані, закляті, омертвілі.

Вмерли люде, земля, небо, боги.

І вмерла душа людей і душа безкраїх  
просторів.

І час ляг на хмарах сонної безконечности  
і спить.

Здається, навіть смерть умерла.

Море вічності стануло.

Вічність спить.

---

Людський біль не спить.

Сліпий товариш прокинувся.

Підняв обі сині руки, затиснув пальці  
й поклав їх на свої сині уста.

Йому зимно.

Я взяв його руки у свої долоні й хотів  
огріти їх.

Але мої долоні були зимні.

Я притулив його руки до своїх уст  
і до лица.

Але й мої уста й лице були зимні.

Тоді я силкувався війнути теплим поди-  
хом із моїх грудей на його руки й дати йому  
частину моєї душі.

Але я не чув ні свого теплого подиху ні своєї душі.

Не чув нічого.

І тоді щось, поховане в темних нетрах, де колись була моя душа, вийшло на світло.

І якась моя остання, велика, гаряча, ще не виплакана сльоза впала нагло на його висохлу, синю руку.

Я скоро й непомітно обтер її й наблизив обі його руки до вогню.

Здається, сліпий товариш почув, що щось тепле й вогке впало йому на руку.

Його сліпі очі довго дивилися на мене і здавалося мені, що промінь світла пав на його обличчя.

Чого він так довго дивиться на мене?

Дивиться й мовчить.

---

Нараз він узяв мою руку у свою, стиснув її, нахилився до мене й голосом, як таємний гомін крил позасвітнього вістуна, як ніжно-мрійно радісне зітхання дитини у сні на до-світку — шепнув :

»Є сонце в життю.«

Всі товариші глянули з зачудуванням, подивом і з пошаною на сліпого товариша.

Здається, що їх німі погляди так і говорили до нього:

»Твоя душа, замучена таким страшним болем, як ніхто другий на світі, бачить сонце...

Твої очі, що видітимуть усе тільки чорну ніч перед собою, бачать сонце.«

---

І їхній сліпий товариш, цей німий, у болю скам'янілий живий образ нужденности буття, перестав у цьому менті бути для них наймарнішою пилінкою між ними, найнужденнішим, долею розтоптаним хробаком.

Вони чули, що з темних ям його очей пливе щось таємне, могутнє.

Щось ясніше світла, душе сліпої сили божевільних стихій, святіше всіх богів.

Якась невміруща сила людської душі.

Якийсь могутній дух людини, що крізь нужденність сьогоднішньої хвилі, крізь ріки крові, крізь хрести на цвинтарях, крізь сонні простори позагробні, крізь темряву безконечних засвітів бачить сонце майбутніх поколінь...

І людина, що в ній царить цей дивний, ясний і могутній дух, буде, вміраючи, радіти тому сонцю, що зійде колись...



І здавалося їм, що їхній сліпий товариш не чує тепер ні голоду, ні холоду, ні болю, ні туги... ні бажання розмовляти, бо його душа живе вже в цьому новому світі сонця, який його сліпі очі бачать, а якого вони, видючі, не видять, нечують...

---

Довго вони дивилися на нього мовчки з німою пошаною.

---

Нараз Добровський глянув на кожного товариша, опісля показав очима на сліпого й шепнув:

»Він щасливіший від нас...«

І п'ять долею розтоптаних нуждарів дивилися у святому тремтінні на щастя свого сліпого товариша з заздрощами....

---

---

---





#### IV.

Нагло об їхні вуха вдарив притишений,  
глухий, хриплий голос:

»Чуєте ?« . . . .

Видерся з душі, як із могили, здушений,  
таємний, жахливий.

І була в його тремтінні якась незбагнена  
радість ізза цього, що хтось уже зближається . . .

Ох, уже йде, іде вже й несе — визволення.

Хто його бачить?

Хто його чує?

Пшилуський.

Чому Пшилуський?

Адже йому все байдуже:

І небо і хмари й безодні і кожний товариш!

Вони глянули з жахом на нього.

»Слухайте.«

Високо над ними небо висипало безліч якихось дрібненьких істот, ніби зерен, чорніших чорних хмар.

Вони повзуть по хмарах і неспокійно шукають когось...

То знов поринають у хмарах і на коротку хвилину щезають....

»Слухайте«...

Слухають і чують...

---

Здається мені, що від непроглядних сумерків віків аж до цієї хвили тут було замерзле царство мовчання...

Хай цю заклиту тишу роздеруть блискавки!

Хай її розібють громи!

Хай тільки не чуємо цього жахливого, понурого крякання!

Воно окуває новим морозом останок нашої душі.

Роздирає стриж у костях.

---

Але якийсь добрий дух не забуває Ніколіча.

Бере його свідомість, як дитину за руку й направляє її на ясний шлях...

»Чувте голос?«, шепче Ніколіч і нагло бліді останки життя в його обличчі мертвіють. Тільки в очах мерехтить іскра заблуканого вогню.

І тремтячим, зломаним, таємним голосом Ніколіч не то співає, не то повтаряє пісню, яка причулася йому :

Люлі, сину мій,  
Люлі, квіте мій,  
Спи моя надіє.  
Лиш дитиночці  
У колисочці  
Щастя світ яснів.

Не пройде весна —  
Буря навісна,  
Потрясе світами.  
Сину, сину мій,  
Вдарить біль страшний  
В бідне серце мами.

І даремно я,  
Зірочко моя,  
Млітиму з розпуки,  
Як там... над дітьми —  
Серед вихру й тьми —  
Крякатимуть круки.

Після останнього слова пісні підніс очі до чорних хмар і здригнувся.

Глянув на всіх і голосом, повним жаху,  
лебедів :

»Товариші, моя мати правду сказала . . . .  
Чуєте? . . . Над нами круки крячуть . . .«

---

Вони сидять, як мертві і слухають, як по-  
нурий голос гострими, хижими дзьобами клює  
їм мозок.

---

Довгу мовчанку перебиває Сабо голосом,  
у котрому чути конання сили і свідомости:

»Батько . . . кличе . . . батько кличе . . .«

Прочі тіні силкуються теж почути щось  
любє, давнє . . .

Даремно.

Даремно я напружую слух, щоби почути  
слово, стогін, плач, ридання цієї матери з ди-  
тиною, що станула серед снігів і стоїть не-  
далеко перед нами . . .

Чому вона стоїть там? . . .

Чому не плаче? . . .

Чому не прийде до нас? . . .

І її дитина не плаче . . .

Чому її дитина не плаче? . . .

Це булоб чудо, якби тут людина не  
плакала . . .

Якжеж це можливо?

Тут коло нас маленька дитина — і вона не плаче?...

---

Беру Добровського за руку й питаю його: «Скажи мені: »Чому ця дитина не плаче?«  
»Де дитина?... Чия дитина?...« шепче він.

»Цієї матери . . . вона стоїть перед нами . . .

»Успокойся, товаришу. Це тобі так тільки здається . . .

Перед нами не стоїть мати з дитиною . . .

Перед нами немає нікого . . .

Тут до нас ніхто не прийде: ні дитина ні жінка ні батько ні мати . . .«

Я повторюю раз-у-раз останнє слово:

»Мати . . . мати . . .«

---

І нараз душу всіх запалює бажання схилити голову на груди матери й почути на своєму волоссі пестоці її ніжної руки.

Тяжке пекло всіх терпінь зробило їх слабими, безпомічними, маленькими дітьми.

Вони самотні, всіми покинені, забуті Богом і людьми.

Люде дали їм замість ніжності прокльони,  
замість серця гарматні кулі, замість родинного  
щастя кайдани неволі.

Природа кинула їх у холодні нетри,  
звідкіля вороття немає.

І як маленька дитина тужить за матер-  
ньою груддю, заки засне, так і вони прагнуть  
якоїнебудь ніжності, заки пустяться в да-  
леку дорогу...

— — — — —  
— — — — —  
— — — — —

Понуре крякання круків збудило небо  
й гори з мертвецького сну.

Розвівається могильна тиша й холодна  
байдужість природи.

Десь далеко чути глухо понурий шум.

Буря йде...

Буде боротьба між небом і горами.

Між життям і смертю.

Шум котиться чим раз bliще, як далекий  
рев моря до сонного берега.

Гори й безодні застогнали.

Блискавиці роздирають небо і громи  
гогочуть.

Під ударом вихру чорні хмари пускаються в дикий танець.

Наче згряя розярених звірюк, випущених із привязі, товпляться, клубляться, спихають себе в нив і одні за одними женуть у шаленім бігу та бють громами верхи гір, які стоять їм на шляху.

І застигле море хмар під тінями оживає.

Вітер кусає, розриває, розшарпує його і крізь прорив показується перед очима тіней не земля, а якась чорна, як пекельна ніч, грозою проймаюча безодня.

Хмари під тінями піднімаються в гору і стрічаються над їхніми головами з хмарами на небі та кидають на привітання блискавицями і громами.

»Примари... примари...« шепче Пшилуський.

І другі тіні так думають...

Ці страхіття так довго і спокійно з жахливо відчиненими пащами лежали на небі й чатували...

А тепер вони, люті вороги світла, дивляться на маленький огонь під собою й на купку живих істот коло нього.



Дивляться і ще більше з гніву чорніють і кровю наливаються.

Купчаться над огником і над живими істотами довкола нього.

Окутують їх тьмою й посилають до них блискавку за блискавкою, як величезні, вогняні, зловіщі знаки питання.

Не отримують од них відповіді й вибухають великим гнівом.

Грім за громом ударяє в землю довкруги тіней.

Студений вітер подихом смерти дує на них.

Вони скулились довкола вогню.

Смертельне тремтіння проймає їх тіло.

Одна людина шукає в очах другої іскри спасення.

Та знаходить тільки жах і запалий, чорносірий, посинілий, труплячий образ смерти, а замість очей дві чорні ями, що ростуть, ростуть, ростуть . . . жахливо нахиляються над головами й ось-ось поглинуть усіх і все . . .

І замучена душа тратить владу над тілом.

Уста самі мимоволі відчиняються і з горла пливе, довгий, протяжний, безперестанний, жахливий звук:

»Аааааа.«

---

З кряканням гайвороння, з ревом громів і з зойкотом вихру змішався нараз якийсь не-самовитий регіт.

Що це?

»Пшилуський, що тобі?«

»Ха, ха, ха, ха!»

Як я радію, що смерть іде!

Ха, ха, ха, ха, ха!»

Замовк і було видно, як добував якийсь тяжкий камінь зі своєї душі.

»Товариші! Мені без упину страшенна змора ссе мозок.... не мені кров.

Хочу висповідатися перед вами... лекше умру.

Воєнне пекло все обернуло в руїну: високі змагання духа... людське достоїнство... честь... Людина стала звірем людині...

Одначе я думав:

»Як верну по війні живий... буде найбільше щастя на світі... життя з любою дружиною... з дітьми.

Цілий рік я не бачив своєї жінки.

Я тужив за нею... любив її безмежно... шалено...

Дістав відпустку... приїхав до своєї дружини... до своїх дітей.

Через кілька днів... мій син... мале невинне ангелятко... щебече мені про все... що бачив... каже:

»Тату, до нас приходив один пан. Я дуже не любив того па́на, бо він цілував маму і я дуже плакав, відпихав його від мами й казав: »То моя мама«. А той пан сміявся й далі цілував маму й казав мені: »То моя мама«.

Земля підімною розступилася...

О, чому мене зараз тоді пекло не пожерло!

Я утратив ціль життя.

Всі мої мрії про родинне щастя... розвіяні... опльовані...

Моя остання надія... моя одинока, найвища ціль життя... і ту війна мені зруйнувала... божевільно жорстоким чином зруйнувала...

Найстрашніше це... ця жінка знищила життя моїх дітей...

Вона цілувалася з коханцем у їхніх очах...

Вона затроїла їх ангельські душі їдко  
брехні... гнилі...

---

Я все їй... прощаю перед смертю...

Її злочину матери супроти дітей не можу  
простити.»

Замовк і його очі блукали в мрачній далі  
й шукали когось.

Його обличчя, вся його постать уявляли  
собою образ мерця, якого якесь чудо привело  
назад до життя. Цей мерлець упер тепер свої  
погаслі очі в мрачну даль і жде на вороття  
свого болю, бо хоче його взяти зі собою  
в могилу.

---

Нараз його очі дико заіскрились, велике  
більмо їх заступило й він крикнув:

»Пекло!...

Вона цілується з коханцем...!

О, Боже!

Мої діти плачуть...

Мої діти відпихають коханця від ма-  
тери!...

Товариші!

Де кріс?

Сейчас застрілю її як —«

Ухопив кріс, змірив і стрілив.

Довго гори гомоніли гомоном сумним,  
понури́м.

Гайвороння зірвалося з трупа Боянія  
і злетіло з тривожним кряканням угору.

»Ха, ха, ха, ха!

Тепер моя жінка не цілується вже більше  
з любасами...

Її тіло застигає тепер так само, як моє.

Ха, ха, ха, ха!»

Замовк, узяв голову в руки і впер очі  
в огонь. З його очей стали канути сльози.

»Діти, діти«, говорив Добровський. »Ви хо-  
чете з розуму зійти.

Пшилуський, не вдавайся в тугу за тим,  
що вже не вернеться ніколи.

Потішся тим, що ти не перший і не  
останній.

І мене не минув подібний біль.

Але я не плачу. По що? Лиха жінка  
не достойна сліз і розпуки мущини«.

З його груди мимоволі продерся тихий  
стогін.

Але він миттю придушив його.

Наче соромно стало йому ізза цієї хвиливої слабости.

Він засміявся голосно і глумливо та сказав до Пшилуського:

»Але з тебе неабиякий стрілець, коли тобі вдалося застрілити ворога на віддаль двох тисяч кілометрів...

Та проте прийми мою раду:

Коли з цього болота, з якого нас усіх зліпив сліпий припадок, ти знов народишся на світ, знов зійдеш із розуму і знов оженишся, то для більшої певности стрілай на свою жінку з блищої дистанци.»

Одначе Пшилуський не чув тих слів.

Від думав тепер тільки про свої діти.

Притискав обі сині руки судорожно до чола й шептав:

»Дітоньки мої!

Чому я вас не бачу?

Чому не прийдете до свого батька?

Ангели, сирітки мої!

Хто вас у вечері спати покладе?

Хто вам у ранці кучерики розчесе?»

Грім ударив і заглушив його останні слова.

Незабаром його тіло почало поволі холонути.

А на його обличчі застигали також два  
ясні струмочки...

---

»Огонь гасне«, шепнув хтось наче у гли-  
бокому сні непевним, сонним, утомленим  
голосом.

Огонь уже слабо блимав.

І Пшилуський дивився на нього, але вже  
його не бачив.

Його душа вже вибиралася на шлях нового,  
незбагненого тепла й сонця.

---

Нагло роздався якийсь дивний, жахли-  
вий стогін.

Це скрипка Штранцінгера конає...

Він держить її над огнем, а сам трем-  
тить... тремтить...

Чотири ножі хтось їм устромлює в серце...

Чотири струни одна за одною тріскають...

В конанні скрипки чути голосіння люд-  
ського розпачу.

Щезли вогняні язики і знов огонь слабо  
тліє...

Немає вже скрипки й не має вже спокою  
сліпому товаришеві.

Здається, тремтіння не покине вже його аж до кінця...

---

Божевілля і смерть Пшилуського, вид погасаючого вогню, горіння скрипки і тремтіння Штранцінгера збудили усіх із душевного отупіння. І остання туга за життям і за далекими ествами вибухає в їх засипляючій душі, як буря на замерзаючому морі.

На шляху до життя стрічають їх очі мертвого Пшилуського.

Його труп, спертий легко на камінь, з головою, що глибоко й важко повисла на груди, сидить задеревілий.

З його уст і з усього його обличчя не уступив вираз болю навіть після його смерті.

Здається, що Пшилуський забрав свій глухий біль, усю свою муку й журбу своїми осиротілими дітьми на той світ.

Чи там знайде він кого, що злагодить йому важкі рани?

Чи також і там він буде все мовчки, відвернутий від усіх, на все байдужий, дивитися тільки на опира, що точить йому кров зі серця?

---



Ніколіч позирає на мерця, праворуч якого сидить, із боку й нагло його серце холоне. Якась дивна думка угризається в його ослаблену свідомість і безперестанно переслідує й мучить його. Положення мерця видається йому непонятним, страшенним, жахливим. Наглий переляк огортає його; він відсувається від мерця далі на право й тулиться чим раз кріпше до Саба. Він тремтить, як дитина, покинута на цвинтарі. Безупинно впірає в мертвого свої великі, затрівожені очі й шепче більше до себе самого, ніж до других:

»Він умер . . . він сидить . . . чому він сидить?« . . .

Звертається очима до Саба, тисне судорожно його руки й питає його:

»Сабо . . . скажи . . . чому він сидить?« . . .

»Не бійся . . . з тебе жовнір«, відповідає Сабо глухо.

Наступає коротка мовчанка, підчас якої Ніколіч не може знайти спокою.

Несамовитим голосом-шепотом, начеб нагло його покляли у труну й забили кріпко віко над ним, він лепече:

»Я бачив багато мерців . . . Я не бачив сидячого мерця . . .«

Звертається до Добровського й питає його  
благаючим голосом:

»Друже . . . скажи . . . чому він сидить?« . . .

»Успокойся, товаришу, успокойся«, роз-  
раджує його Добровський.

Глибоке мовчання, перериване тільки  
ревом бурі.

— — — — —  
Нараз нагальне тремтіння проймає  
його тіло.

Він дивиться через огонь на того, що вже  
не тремтить і ледві чутним голосом шепоче:

»Бояні вмер . . . Пшилуський умер . . .  
Штранцінгер? . . . Невже він? . . . Сліпий брате?  
Промов слово . . .«

Сліпий мовчить.

— — — — —  
Ніколич глядить у далеку похмуру даль  
і здається, що його очі шукають когось.

— — — — —  
Дивиться тепер на товаришів і шепче:

»Чуєте? Хтось плаче . . . Я чую . . . хтось  
плаче . . . Він далеко від нас . . . стоїть на зеле-  
ній мураві . . . в ясному сяйві . . . він видить  
нас . . . він плаче . . .«

Мовчки прислухається, як хтось плаче.

---

Туман снігу, гнаний вихром, виводить дикий танок над їхніми головами й нагло кидається в долину на них. Одна людина тратить другу з очей. Здається їм, що ледяний вітер і сніг тепер видруть їм із тіла очі й життя.

По кількох хвилях туман покидає їх і серед реву й реготу танцює на стрічу темній далині.

Мені в голові шумить, кипить, щось у ній молотом бє.

Здається мені, якесь дивне, важке оп'яніння огорнуло мене.

---

Отвираю очі і крик жаху виривається мені з горла: я бачу кругом себе у спіжно-білі киреї завитих мерців...

Всі мерці сидять та проте рухаються... з місця на місце...

Я божевільний...

Ні... це сон... Такий сон сниться тільки мерцям...

Ні... мерцям не сниться нічо...

Мерці лежать супокійно...

Я живий...

Тисячі ледяних голок устроилися мені  
в саме серце і в мозок... і колять мене, колять,  
колять, колять... я бачу мерців... мерці  
танцюють...

Я божевільний...

---

Нараз бачу з радісним зачудуванням:  
мати з дитиною, яка досі стояла недалеко пе-  
ред нами у снігу, наче прикована, також ру-  
шила з місця...

Кличу, скільки можу, голосно:

»Вона йде до нас!... Вона йде до нас!«...

Та в найблищому менті кричу до неї  
розпучливо:

»Не йди до нас!... Тут на тебе жде  
могила!«

При мойому останньому слові чую голос:

»Ти живеш... мій друже«...

Це Добровський.

З жахом дивлюся на нього.

Він бере мене за руку, показує товаришів  
і каже:

»Всі живуть... Тільки Пцилуський  
умер...«

Жахлива мандрівка мерців кінчається і я  
стаю пізнавати кожного товариша.

Всі вони закутані в біле, тонке покривало  
зі снігу.

Тіло сліпого товариша тремтить серед без-  
упинних дрозців...

Він не вмер...

Очі Ніколіча заплющені.

Він теж тремтить.

Він живе...

---

Все з заплющеними очима починає Ніколіч  
говорити наче у сні:

»Я хочу жити...

Хтось поклав мене живцем у могилу...

Я не остану в труні...

Тут у могилі зимно...

Сумна моя душа в могилі...

Я хочу жити...

Мої добрі братя, покиньмо цю студену  
могилу...

Штранцінгер... покажи нам сонце!...»

В цьому менті дуже близько вдарив грім  
і в його грохоті губляться дальші слова  
Ніколіча.

Сабо затискає кулаки, глядить із диким  
глумом за блискавицею, піднімає кулаки до

гори й голосом, переповненим гнівом і обуренням, із очима, зверненими в гору й розпаленими шаленою люттю кричить:

»Ти, котрий там на горі розперся серед чорних хмар: Греми і вдар!... Греми і вдар!... жорстокий трусе! Зиркни на сліпого, зиркни на горе, котре ти тут ізгоропашив для своєї радості!... Наймізерніший черв, Сабо, з призирством до тебе кричить: »Греми і вдар!... Греми і вдар!...«

---

При грохоті нового грому Ніколіч одчинив очі.

Затремтів ще більше і дзвонячи безупинно зубами, белькотав:

»Зимно... зимно... зимно...«

Добровський, котрий почав уже чим раз більше байдужіти на все, став при останніх словах Ніколіча дивитися кругом себе і сказав нараз:

»Бачите? Онде на сто кроків гарний корч. Огонь буде. Ходім!«

Коли я почув ці слова Добровського, якесь могутнє і страшенне почуття потрясло цілим моїм єством.



Так, так, це жінка з дитиною,  
Вона спасе всіх нас від смерті!

(Поза межами болю.)





В понуру ніч, у зледенілі нетри, в мертві пустари моєї душі пав нагло якийсь промінь, ясний, як південне сонце, могутній, як життя, визвольний, наче рука спасення.

Одночасно я почув, що найтайніша, незглибима глибінь, яка спочивала досі спокійно в моїй душі, як нерухомо в вічній темряві спить у глибині море, роздерте на верху вихрами і громами, розхвилювалася стихійно.

Живлові почування, як могутні хвилі стали підніматися в гору й отворили на найглибшому дні глибоку прірву, щоб кинути туди безпощадно все, що там... на верху стало загрожувати загладою життю.

Нагла блискавиця розяснила мій мозок і якась уперта думка мучила мене, що Добровський — це якась потворна істота, котра наважилася розтонтати весь змісел, усю ціль життя... убити нас усіх... знищити все...

Я вирвав з рук Пшилуського сербський кріс і, силкуючися встати, крикнув до Добровського, котрий пустився йти в напрямі корча:

»Назад!

Не смієш іти там!

Назад!

Це не корч!

Глянь!

Це моя дружина й мій син!

Вона йде до мене разом із дитиною.

Вона вирятує мене і всіх нас від смерти.»

При допомозі кріса я намагався всіми силами устати й піти на зустріч дружині й синові.

Товариші глянули в сторону корча з виразом великого здивування.

Сабо й Ніколіч дивилися довго і вперто.

Між моїми словами і їхнього свідомістю закипіла дивна й завзята боротьба.

Нагло їх очі блиснули почуттям певности й вони оба стали кричати один за другим:

»Так, так, це жінка з дитиною.

Вона спасе всіх нас від смерти!«

Добровський глянув на всіх нас і здригнувся.

Приступив до мене й запитав:

»Чому не вийдеш на зустріч своїй дружині ?

Адже це твій обов'язок.

Устань, я тобі поможу.»

Я весь час пробував устати, але не мав сили.

Уже зовсім не чув ніг.

З завзяттям розпуки я боровся, щоби перемогти неміч.

Намагався рачкувати.

Але й це було неможливе.

Я став прохати Добровського:

»Друже мій!

Май милосердя наді мною . . .

Заведи мене яким небудь чином до них . . .

Подумай, товаришу: вона йшла тисячі верст через високі гори . . . глибокі ріки . . . з дитиною на руках! . . .

Вона хоче побачити мене . . . спасти мене й усіх нас від смерти.

А я не в силі кілька кроків вийти їй на зустріч . . .

Вона дуже втомлена довгою дорогою . . .

Вже так близько коло мене втратила всю силу . . .

Глянь! . . .

Вона хилиться до долу! . . .

О, мої бідні! . . .

Пождіть - іще малу хвилину . . . благаю вас . . .«

»Добровський«, кричав Сабо й Ніколич, »поможи йому зайти до неї.

Ця жінка спасе всіх нас від смерти.«

Добровський напружив усі свої сили й підняв мене на ноги та сказав мені:

»Нам обом одна дорога: ти йдеш на стрічу жінці — я по дерево.«

Я вхопився судорожно руками за його шию й ми оба почали йти.

За нами залунав радісний крик Саба й Ніколіча:

»Вони йдуть! Вони йдуть!

Бог не забув на нас !

Ми всі будемо жити !

Гляньте ! Гляньте !

Як радісно вона усміхається !

Чи бачите ?

Вона показує нам хліб !

Чудовий білий хліб !

Ідіть хутко, товариші, хутко !

Ми йдемо слідком за вами.«

Пробували оба встати.

Але тільки качалися по землі.

Недалеко вдарив грім.

В поражаючій почуттю своєї цілковитої безпомічності почав Ніколіч плакати.

Плакав голосно, як мала дитина.

Його ридання ходило довгим гомоном горами, долами !

Стогпало разом із громами по безоднях.  
Стлалося прокльоном по холодній, бездушній землі.

Било голосом розпачу молодої людини об закам'янілій небозвід.

Навіть круки злякалися голосу ридання людської душі.

Перестали крякати і кружляли високо над їхніми головами та витягнули шиї й наслухували, що це за дивний голос мішає їм понуру музику ?

Тільки небо не злякалося.

Воно холодно відкидало людське ридання, заглушувало його своїми громами, клало його на крила гайвороння, а відтіля розкидало по замерзлих горах і безоднях.

---

Добровський ішов і волік мене зі собою.

Та мимо крайньої напруги останніх сил зайшов зі мною ледві десять кроків.

Далі не мав сили.

Стояв іще хвилинку, опісля ми оба повалилися на землю й застогнали.

Добровський устав знову, але вже не мав сили мене підняти.

»Заклинаю тебе на все на світі . . . то-  
варишу . . .

Іди сам до них . . .

Приведи їх до мене . . .

Я виджу й чую . . . моя дитина замерзає . . .  
дружина гине з розпуки . . .

Чуєш їх плач?

О, Боже!»

Добровський зробив ще три кроки сам  
і знов упав на землю.

Приволікся до мене, мов смертельно ра-  
нений пес.

»Не журися!«, казав до мене. »Ходім на-  
зад до вогню, наберім свіжої сили, а потім  
уже зайдемо«.

Ми оба почали рачкувати й качатися по  
снігу до огнища.

Ледві ми зробили кілька кроків, як Сабо  
став нам грозити кулаками і крикнув:

»Сейчас вертайте!

Невже ви не бачите?

Ця жінка прийшла сюди, щоб усіх нас  
вирятувати від смерти?

Чомуж не йдете їй на зустріч?»

Добровський ще раз зібрав силу і під-  
нявся.

Показав на свої груди і сказав до Саба:

»Бачиш, у котрому місці моє серце?

Стріляй!

Але кажу тобі: як не вцілиш у саме серце, то я ще матиму стільки сили, що прилізу до тебе й задушу тебе, як щенюка«... .

Сабо захопив кріс у руки і став бити себе прикладом по чолі.

Добровський приліз разом зі мною до огнища.

Ми оба сіли і глянули на вогонь.

Огонь уже погас.

Перший раз показався на обличчі Добровського вираз розпуки.

Але це тривало лиш коротку хвилину.

Він стрепенувся і сказав:

»Щось мокро тиснеться мені до очей.

Тепер ось нам висновок із цілої життєвої філософії: погас огонь — треба спати йти.

Не чую вже охоти ні сили до нічого.

Хочу заснути і спокійно спати, спати.

Добраніч вам, товариші.

Дай Боже, щоб нам так солодко спалося, як Пшилуському.

Він сидить собі спокійно, спертий на камінь, нічо його не обходить, наша спільна

журба йому не в голові — справжній польський шляхтич.

Ця його нетоварискість мені не подобається.

Але ми всі йому прощаємо, бо він терпів може більше нас усіх.

Будьте здорові, всі близькі й далекі.

Добраніч тобі, моя старенька мамо.

Ти все була добра й люба зі мною.

Ти нічого не винна.

Не тужи за мною, не бий своєю сизою головою об мур, бо це непотрібне й безцільне.

Я засну спокійно, при повній свідомості.

Чую вперше якесь таємне, навіть радісне вдоволення ізза цього, що в моїй душі горить тепер лиш одно одніське бажання: вічний супокій.»

Тут Добровський звернувся до мене і сказав:

»А ти, брате, також не журися.

Коли у тьмі і в хаосі, в якому ми мучимося, тліє іскра якоїнебудь ідеї, то твоя огненна любов до життя й до його вищих цінностей переможе смерть.

Колиж усе життя — це тільки безцільний сліпий вир припадку й божевілля, то ти супокійно засни.



А як прокинешся, то побачиш свою дружину з сином онтам —«

Показав на небо і сказав лагідно:

»Добраніч«.

Підібрав ноги під себе, сперся ліктями на коліна, схилив голову на руки та підпер її добре долонями й заплющив очі.

І сидів нерухомо й мовчав.

---

Його мовчання наче забрало товаришам душу й лишило там безпросвітню, чорну, безконечну пустку.

І була ця пустка невимовно сумна, мов цвинтар зі свіжою могилою батька і друга.

---

Ніколич глянув на нього і знов голосно розплакався.

Витягнув до нього руки і прохав його, як маленька дитина:

»Не покидай нас, товаришу!

Нам дуже сумно без тебе.

Розкажуй нам усе . . . як досі . . . розрадь, потіш нас мовою своєю . . . друже наш любий . . . батьку наш . . .«

В цьому менті вдарив недалеко грім і на хвилю чорна тьма все оповила...

---

Божевілля огорнуло хору уяву конаючих людей і всі стихії природи.

Серед понурого рокотіння громів стогнало небо й гори наче в передсмертних судорогах.

Мов смертельно ранена звірюка вихор кидався на них, в дикім шалі розшарпував хмари, гонив по безоднях і шумів, як розхвильоване море, то знов ридав і стогнав, як тисячі матерей над могилами мужів і дітей, як безліч людей, розірваних кулями і спалених отруйним повітрям у дикій боротьбі.

Затремтіло небо, задріжали гори.

З безупинним гомоном громів, з жахливим стогоном незбагнених голосів по безоднях змішався нагло новий, жахливий звук.

Спершу яскравий і порожній, опісля глухий і глибокий, то знов протяжний, понурий, як роздертий голос тримбіти: виття вовків.

Вся та пекельна симфонія жахливих звуків відбірає всім останню іскру ясної думки.

---

Я нічого не чую, нічого не розумію.

Вся остання сила моєї свідомости, вся моя душа при моїй дружині з сином.

Вони обоє так близько коло мене й так далеко!

Небо й землю порушу огнем моєї душі, моїм благанням, моїм болем і сльозами!

Я спасу, я мушу спасти від смерти дружину й сина.

О, Боже!

Іскри співчуття до твоїх дітей на землі!...

Зглянься наді мною!....

Не благаю у тебе чуда... ні ласки.

Дай мені тільки трошки сили... хай я зайду до них...

Глянь, Боже... на круків!

Ти їх сотворив.

Вони зловіщі... жорстокі створіння...

Ти дбаєш про них!...

Над мовою головою два круки...

Вони віддаляються від себе!...

Глянь: вони вже коло себе...

Вони радіють... так легко можуть прилинити до себе!...

Чому, Боже, даєш крукам таке щастя?...

А людей... кидаєш у найглибшу прірву болю... розпуки?...

Боже!

Глянь на мою дружину з дитиною!...

Глянь на круків... на мене... змило-сердися наді мною!...»

При мойому останньому слові нагло якийсь чорний звір появився коло мові дружини й дико блискає очима.

»Боже й ви, пекельні сили!

Не дайте цьому звіреві убити мені жінку й сина!«

Смертельна тривога додає мені сили.

Я прилізаю до Саба, вириваю йому з рук кріс, мірю і стріляю.

Чорний звір щез.

Але божа сило... що це?...

Замість жінки з дитиною я бачу перед собою... чорний... сухий... безлистий... корч!...

---

Грохит громів, стогін безодень, крякання круків і виття вовків прошибає мій небо й землю роздираючий розпач:

»Я вбив свою дружину і свого сина!

Товариші, убийте мене!

Я не достойний жити на світі.

Я вбив дружину й сина!

Любі мої приятелі!

Обізвітьсья бодай одним словом до мене!»

Всі мої товариші сидять, мов кам'яні статуї  
й мовчать.

---

Я прилізаю до кожного з них окремо  
й буджу, термошу їх.

Але вони мовчать.

---

Я стаю товкти головою об замерзлу землю.

---

Серед грохоту, гомону, реву і клекотіння  
природи щось несамовитно зареготалося в безо-  
дні і на хвилю все стало притихати.

---

Нагло чую голос наче зпід залізного віка  
домовини :

»Ми всі — прокляті.«

Сабо.

Я глянув на нього.

Його наскрізь посиніле обличча і його ши-  
роко отворені очі й уста остають нерухомі  
і вперлися в мене, як якась невимовне стра-  
хиття і проклін усього буття.

Поражений, розторощений я дивлюся на нього і здається мені, що моя слаба кров застигає мені в жилах.

Силкуюся відірвати свої очі від цього марева.

Даремно.

---

Втім мені ввижається, що уста мерця ще більше відчиняються, ще жахливіше перекирвлюються.

Чую якийсь несамовитий регіт і могильний голос, який усе вбиває:

»Ти ще живеш? ... страждаєш? ...

Безбільність ... супокій ... от і все ...

Зроби кінець ... кінець ... «

І в рокотінню громів і в погоні хмар, у далекім виттю вовків чую безупинно одно слово:

»Кінець ... кінець ... кінець ... «

З крайнім зусиллям відриваю очі від Саба.

Обертаю кріс, прикладаю кінець дула до свого горла та кладу замерзлий палець на язичок.

---

Нараз наче не з цього світу озивається  
слабий, сонно-мрійний голос Штранцінгера :

»Далеко... там... сонце.«

Кріс випадає мені з рук.

Я гляджу на очі Штранцінгера.

Хочу разом із ним шукати сонця.

Ох, його очі сліпі!

Боже, верни йому очі!

-----  
В останнє я гляджу у мрачну даль і моя  
душа шукає іскри спасення.

-----  
І мої очі дивляться непорушно.

-----  
Нагло якесь солодке тепло починає огор-  
тати ціле моє єство.

І так любо, так розкішно стає мені на душі.  
Замикаю очі, а проте бачу якийсь но-  
вий світ.

Який чудовий світ!

Боже! Цей світ знакомий мені!

Біла хата...

Сонце малює віттями ясеня дивні квіти  
на стінах...

Дим вється мирно під синє небо...

Маленькі діти граються під хатою на сонці . . . .

Я хочу йти до дітей . . . .

Мати держить мене, маленького, на руках і мене пестить . . . .

А я сміюся, сміюся . . . .

---

Потім десь я вже великий . . . .

Сиджу в зеленому садку і слухаю, як верховіття старезної груші шепоче казку віків.

Приходить до мене мій маленький син і веде за руку матір.

Мати стає за мною й затулює мені очі руками, а дитина так сердечно при тому сміється!

---

Я беру сина на руки . . . .

Не можу вийти з дива, длячого його ручки такі малі . . . . ?

---

Та найбільш мене одно дивує: . . . .

Життя дружини й сина видається мені незбагнутою загадкою . . . . що звязана з якоюсь таємною подією . . . .

Ця подія живе на дні мові свідомости . . . . одначе спогад про неї не в силі виринути ясно на верх . . . .





Не бачу, не чую нічого —

(Поза межами болю.)



Я дивлюся довго на них обоє й питаю:

»Невже ви обоє дійсно живі, чи це лиш  
ваші тіні?« ...

»Що тобі, любий?

Звідкіля таке дивне питання?« ...

Обоє хочуть обняти мене.

»Не цілуйте мене ... мої любі ... мої уста  
замерзли ... на них сидить смерть ...«

Обоє плачуть.

Я беру їх за руки і йдемо на сонце ...

Наша дорога вже травою заросла ...

Кругом нас пшеничні лани хвилюють ...

Золоте колосся кланяється нам на при-  
вітання ...

А над нами — чи це чудо? ...

Сине небо любо і приязно сміється ...

Здається, увесь світ тоне в розкішному  
морі світла й тепла ....

Сонце заглядає у всі закутки моєї душі  
і проганяє всі хмари з неї ...

І я пригортаю дружину й сина до своєї  
груді й цілую їх ...

— — — — —  
Світло бере мене на свої промінні крила,  
голубить, колише, леліє мене ...

На срібних хвилях світла золоті й багрові  
іскри мерехтять...

Я лечу десь далеко...

Де вони обоє?...

Зникають іскри.... світло блідне....

Темніе....

Кругом мене чорна ніч...

І ніч блідне...

І не бачу ні світла ні ночі..

Не бачу, не чую нічого —





V.

Сон, чи ява? ...

Мов крізь імлу ввижається мені: лід...  
якісь зимні руки... вода... я в воді...

Це сон ...

— — — — —  
Якийсь голос кличе ...

— — — — —  
Чую рідне слово: ...

»Друже... химерний козарлюга.... по-  
важився.... купіль.... голий.... зимно....  
пізнавш мене?«

— — — — —  
Українське слово поволі приводить мене  
щораз більше до притомности.

Пізнаю свого товариша неволі Василя  
Романишина.

— — — — —  
Він розказує:

»Знавш: я впавав хорий позаду.

На щастя їхали на конях сербські лікарі з полоненими австрійськими лікарями й посадили мене на коня.

Край дороги бачимо шестеро людських тіней, які сидять похилені довкола огнища й напів присипані снігом.

Зі зловіщим прочуттям я приблизився до них і пізнав тебе.

Зліз із коня, подивився блище і зі страху мало не впав.

На щастя твоє серце якимось невиясним чудом іще билось.

Сейчас я закликав усіх лікарів і ми відтирали тебе снігом і рятували ріжними ліками та все таки ти далі був непритомний.

Ми зважилися на крайню спробу врятувати тебе і привезли тебе до того потока.

Тепер іще тільки трошки витримай у воді і, Богу дякувати, будеш здоров.»

---

»Де мої товариші?«

---

»Остали на горі й сидять довкола огнища.«

»Огонь горить?«

»Ні, погас.«

---

»Вони мертві ?«

»Не думай тепер про них...«

Важке мовчання.

---

»Де вони... обоє? ...«

Вони живуть і ждуть на тебе.«

Довге мовчання.

---

Нараз із ям моїх очей продерлися дві великі, важкі сльози, гарячі наче кров.

І покотились по знуждованім обличчі, мов два камені по висохлій, бурю битій, громами розритій землі.

---

І тихо щезли під льодом.

---

---

---

Ельба, 1917.









## Естетично-критичні замітки до твору Осипа Турянського „По́за межами болю“.

Написав проф. др. Роберт Плен.

(Переклад із німецького видання п. н. „Jenseits von Leid und Schmerz“.)

Хвилювати, піднімати і єднати людські серця, освободжувати і просвітлювати людського духа — оце є й остане на перекір усім вимогам моди справжнім і найвищим завданням поета. Хтож не в силі доконати цього, хочби в нього був не знать який хист і не знать яка форма, хочби він користувався всякими можливими засобами й ефектами, цей ніколи не переживе своїх земляків, ніколи не вийде поза межі своєї мови.

Та ще вище від поета, що вмів освободжувати й розогнювати людське серце й духа,

стоїть оцей поет, який має силу об'єднувати серце й духа народів.

В найшляхотнішому змаганні народів досягнути й розділити найвищі цінності людства в царстві світової літератури рідко котрий сучасний поет написав так сильний, так ідейно глибокий і оригінальний твір, як автор «По́за межами болю». Якби цей твір був написав не поет, лиш людина, що пережила зміст цієї книжки своїм власним духом і тілом, то ця нечувано трагічна подія булаб сама собою незвичайним людським документом «ганьби наших часів». Колиж однак ми тут маємо діло з поетом, у якого об'єднана сила духа зі силою слова, коли це людина, якої серце переповнене спочуттям і добротою, тоді його твір — це акт душі, вицвіт людського духа — це твір світової літератури.

Хоч усе має значіння засада, що сам твір повинен хвалити автора, то однак супроти факту, що «По́за межами болю» викликає таке могутнє вражіння, що цей твір піднявся до рідких вершин поезії, що показав нам нові психологічні глибини людської душі і своєю глибокою козмічною ідеєю огорнув суть буття—, є обов'язком і вдячним завданням письменника,

котрий стежить уважно глибокі й оригінальні проблеми людського духа, звернути бодай короткими словами увагу на літературне й культурне значіння твору Осипа Турянського для всього людства взагалі. Адже це твір, який своєю ідеєю і своєю могутньою силою зображення переходить межі свого народньо-українського походження і стає незвичайно цінним здобутком загально людського духа.

Перш усього присвятимо кілька уваг ідейному змістові твору.

З твору »Поза межами болю« видно страшенну, поражаючу життєву правду: Турянський пройшов за життя таке пекло страданця, як це у світовій катастрофі може й не судилося другій людині з глибоким змістом серця й духа. Сімох людей, між ними й Турянського, кинула жорстокість людей і природи в найглибшу прірву душевних і тілених мук, із якої вороття немає. Оці люде опинилися в хаосі буття й над ними повисло марево смерти. Поет дає трагічному пережиттю разом зі своїми товаришами глибокий ідейний підклад через те, що виходить поза межі свого власного »я«, предмету всю трагічну подію й підносить її

на рівень боротьби принципу волі до життя з усіма силами, які є запереченням життя, є смертю. Але й сама воля до життя не творить, не спасає, не розвиває життя, коли вона спірається на первісних, диких, брутальних інстинктах життя, коли в ній є відсутний позитивний елемент. І тут треба подивляти глибоку ідейну концепцію поета, силою котрої він усунув у зображенні долі всіх осіб момент випадковості й добачив у боротьбі людини зі смертю в хаосі буття панування вищого, козмічного закону, який у філософсько-етичному світогляді Турянського розвивається в напрямі передуховлення волі до життя. Під ідейним і психологічним оглядом перевів поет прямо незрівняним чином степенування боротьби первісного, безоглядного інстинкту життя зі смертю до боротьби передуховленої життєвої волі з силами, що руйнують життя. У вступі нема взагалі ніякого принципу волі. Є тільки якась божевільна й безцільна стріча розшалілих, сліпих інстинктів і пасивне конання проблесків людського «я» на тлі понурого цвинтарища природи. В першій частині його твору «Поза межами болю» на місце хаотичних, безцільних інстинктів ви-

ринає вже принцип волі й тут по концепції автора починається властива трагедія людини.

В третій частині бореться вже передуховлена воля до життя зі смертю й дух перемагає принцип безоглядної, сліпої волі. Однак фізичний світ, людське тіло, поконане в боротьбі з духом, тратить усі слабкі останки сили й наслідком того наступає катастрофа. Алеж і дух людей наслідком замірання тіла виходить із рівноваги, притемнюється й гине. Тут однак наступає психофізичне явище, яке прямо поразив своє, мабуть самому авторові несвідомою глибиною філософічної й артистичної концепції: остання крихітка хорого духа викрешує в собі іскру волі до життя, яку зосереджує на візії жінки й дитини. Передуховлена воля до життя розвиває величезну силу, думка про жінку й дитину відчиняє очі, що вже хочуть погаснути, вводить у рух застигаючу вже кров, оживляє віддих і вливає силу в серце, що вже ось-ось перестане битися. Псіхе опановує з безжезним напруженням волі тіло, що вже починає конати. Так ідейно поставлений проблем, так артистично переведений, як це Турянський зробив, це стихійна поезія й найглибша філософія, це

ясновидіння, це щось пророчого! Так, дух любови творить чуда. Поет поставив своїй любові й тузі за родинним життям такий чудовий пам'ятник, як рідко другий мистець в європейському письменстві. Жінка й дитина творять тут символ, під котрим поет розуміє змагання передуховленої життєвої волі до сонця, до всього, що творить і розвиває життя на основі загального добра, любови і братерства людей і народів.

Символізування найвищих ідеалів людства в образі жінки й дитини, це, о скільки я знаю український народ, спеціальна українська черта, яка однак в ідейнім і артистичнім зображенню Турянського являється так само загально людською. Факт, що поет виходить майже чудом живий із катастрофи, являється в світлі його ідейної концепції перемогою передуховленої життєвої волі над матерією, яку опісля та сама воля оживляє й підносить на вищий рівень духового життя.

Так отже остаточний вислід зударення первісних, хаотичних інстинктів, опісля боротьби безпощадної волі до життя за існування, — це в ідейній концепції Турянського передуховлення волі до життя

й боротьба та перемога духа над матерією. І хоч Турянський понурими, як пекельна ніч картинами людського болю поразав нашу душу, то з другого боку він завдяки своєму соняшному ідейному світоглядові наче добрий, лагідний лікар успокоює наші нерви й піднімає нашу душу з безнадійної темряви на найясніші вершини ідеалів людського духа. Ось у чім утаєний між иншим чар поеми «Поза межами болю» в противенстві напр. до «Вини і кари» й до «Братів Карамазових», де Достоевський розстроює наші нерви, приголомшує нас і кидає нас у безпросвітну безодню через те, що хоч ієніяльним чином переводить психоаналізу людської злочинности, то однак не показує нам із виру людських пристрастей і божевілля шляху до сонця.

Ідейним контрастом до світогляду поета являється Добровський, песіміст, який кепкує з життя й зі смерті. І хоч у нього наскрізь людяне серце, то однак песімізм творить його трагічну вину, жертвої якої він мусить пасти мимо того, що він із усіх викидків долі фізично найдуший. Прочі особи, зображені в поемі, це позитивні або неґативні доповнення й екстремі характеру автора й Добровського, це, як

каже Добровський, за слабі тіні, щоб утриматись на поверхні життя.

Що ми мусимо найбільше подивляти в поемі, то це, що в безодні буття, в хаосі стихій, в замерзлому цвинтаріці природи й людей, у власнім фізичнім конанні автор знаходить прямо невиясненому духову силу, яка піднімає його тугу, його віру, все його єство на ясні вершини, де вічно сонце сяє, де найсвятіші ідеали творять і розвивають духове життя. І як раз у зображенні цього страшеного противенства між хаосом і життям, між темрявою і світлом, між пеклом і небом лежить одна з найбільших, незрівняних прикмет його поеми, прикмета, котра під мистецьким, філософічним і етичним оглядом потрясає, піднімає, ушляхотнює душу людини. Ідея його поеми — це вічне світло над розшалілим морем людських заблуджень і злочинів, це переконуюча, тверда наче скеля віра в безсмертну силу людського духа. Автор вірить, що не поза межами людського життя, не в містичних хмарах лежить укрита божеська сила, тільки в душі людини. Він вірить, що козмічний дух приходить шляхом еволюції чим раз більше до самосвідомости й до самопізнання в серці й



в інтелекті людства. Як індивідуаліст і як гарячий визнавець ідеї еволюції Турянський вірить, що ця божеська сила, яка покищо є тільки іскрою в людській свідомості, придушеною попелом самолюбства й дикої боротьби людини з людиною й народів з народами, вибухне колись пожегаром, який обніме весь світ і тоді божеський дух людини проведе в діло своє завдання, яке він висловлює ось якими глибокими і прометейсько могутніми словами:

Де ти, людський духу вічний?  
Глянь, покинули боги нас  
І з людства сміються глузно  
Громами із чорних хмар.

---

Зашуміли горді крила  
Людського титана-духа  
І у шумі чути голос,  
Мов новітній заповіт :

»Через сльози і терпіння  
Шлях веде до просвітління.  
Хто боровся, скутий тьмою,  
Тому сонце мрія мрій.

Я розвію тьму всесвіту,  
Джерело буття отворю  
І з рук всіх богів лукавих  
Правду й щастя видру сам.

Розвалю храми облуди,  
Пекло й небо розторошу  
І збудую нове царство:  
Рай людини на землі.

В ідейній концепції Турянського небесні й земні сили являються ворогами людини тому, що вони або байдуже дивляться на людські страждання або безпощадно, жорстоко й безцільно нищать людські вства.

Автор показав сяйво сонця понад тьмою в так природний і простий спосіб, що основна ідея його твору ділає з силою фізикального закону. Коли отже найнещасливіша, з безтямного болю скамяніла, все могильним мовчанням по-вита, сліпа людина перебиває нагло свою мовчанку й шепче:

»Є сонце в життю«,

то тяжко найти анальоїчну сцену у світовій літературі, яка силою контрасту й безмежнім траїзмом душі сліпого робилаб так могутне вражіння, як наведені слова, які творять основну ідею поеми в вущому значінню.

Автор змалював з незвичайним місцетвом постать сліпого товариша, котрий уявляє собою безконечно глибоку, наскрізь

Х

містичну, сліпу віру в сонце й бачить його у своїх візіонерських мріях. Одначе в ідейній концепції автора така сліпа, безкритична віра становить трагічний момент людини, який викликає смерть. Сам поет не бере життя таким, яким воно є; він глядить спершу на всі явища життя, як каже Добровський, »з певною примішкою філософічного скептицизму«, котрий однак усе в остаточнім результаті витворює в нім непохитну віру в соняшне призначення людського духа.

Діаметральним ідейним контрастом до сліпого Штранцінгера є Сабо, тип негативної волі до життя, брутальний характер, цинік, для котрого сентименталізм — смерть. Однак автор добачує навіть у найдикшій людині проблески божої іскри і зворушливо містецьким способом виказує це в сцені, коли Сабо, виконавши смертний присуд на найбільших винувниках світової катастрофи, засуджує й самого себе на смерть.

Треба би багато писати, щоби зобразити сам ідейний зміст поеми Турянського. Хоч і як він глибокий, то автор не показує його словами, дискусіями; що найвище він робить лиш тут і там кілька натяків ідейного напрямку.

Основну ідею твору дає поет не поняттями, не словами, а образами, концепцією характерів, композицією, розвиванням і степенуванням подій і психічних переживань, коротко — формою своєї поеми. Турянський будує ідейний світогляд як філософ, але свою думку висловлює як поет.

Так отже ідейний зміст поеми »Поза межами болю«, який щодо своєї глибини може стати побіч найвизначніших творів всесвітньої літератури, піднімається понад усі вузько-партійні, конфесійні й національно-расові ідеології, входить у суть вічних законів космічної еволюції і своїм соняшним оптимізмом, вірою поета в божеську силу людського духа, котрий колись сотворить нове царство: рай людини на землі, виступає поза межі сучасності й сягає, як кожний визначний твір, у далеку майбутність.

Не тільки з ідейної, але і з формальної точки погляду Турянський мусів побороти незвичайно тяжкий, величезний матеріал. Однак конструктивний дух поета опанував його вповні. Поет зумів як миститель сотворити з трагічного пережиття і з хаотичного помішання випадку, божевілля, знищення і

смерти органічний світогляд, який він силою філософічної думки провів послідовно у всіх картинах свого твору. Як мистець форми він оживив цей світогляд кровю свого серця, огрів його огнем своїх почувань і підняв його своєю фантазією до загально людського значіння.

Щодо формального боку твору слід найперше замітити, що він написаний на тлі світової війни. І хоч він становить могутній, я скавзавби сміло, наймогутніший протест проти війни зі всіх творів, написаних на воєнному тлі, то однак він не стоїть у ніякому безпосередньому звязку з війною. І це як раз одна з найцінніших його прикмет. Воєнна література видала багато творів, між якими деякі, на першому місці »Огонь« Барбіса, мають незвичайну художню вартість. Однак, нема де правди діти, читання воєнної літератури, навіть виняткових мистців слова, вже здебільшого надоїло. Це має свої глибокі причини, про котрі тут не місце розводитися. Однак Турянський, у котрого розвинутий тонкий смак, лишає жахливу воєнну різню далеко на задньому тлі, бо зображування чисто фізичного мордування й конання людей у боротьбі проти-

виться його естетичному почуттю. Турянський розказує устами Добровського лиш одну воєнну картину на доказ, яку ціль має війна. Однак, хоч і як коротка ця картина, але вона так характеристична, так жахливо потворна, що супроти неї бліднуть усі найстрашніші картини Барбіса, Ані Віванті, Андреева і др. Ось вона: Добровський бачить, як його капраль бе обома руками сербського трупа в лице. На питання розяреного Добровського, длячого він бе мерця, капраль відповідає:

»За те, що ця сербська собака не має ні сотика в кишнях!...«

Це нечувано страшенний факт, наведений у творі Турянського з воєнного пекла. Колиж однак уся його поема є одним могутнім протестом проти війни, то це »протест без протесту«. Оттим то й висока художня форма твору »Поза межами болю«, що в нім нема ні сліду якоїсь буденної, журналістичної тенденції, як це слідно в »Червоному сміху« на кожному кроці і здебільшого в »Огні« Барбіса. В формальній і ідейній концепції Турянського світова війна являється, правда, страшною, потворною подією в життю людства, але в його творі вона є

лиш одною зі смертельних ран, жахливим епізодом у темряві буття, в яку кинули людство небо, природа, а передусім власна вина людей. По формальній концепції Турянського його твір — це зображення душі людей, пірваних у хаос буття, супроти обличча смерти.

Тут незвичайно інтересно стежити коротко за тим, як гармонійно будова поеми відповідає ідейній концепції, поета.

Автор малює найперше тло трагічної події. Те тло, — це розшаліле море, яке він описує наче з далека, короткими, поверховими чертами. Це страшенне, безпощадне, зударення найпервісніших інстинктів, це сліпа, безцільна боротьба пристрастей — одним словом — це хаос. Доперва при кінці цієї картини виринає особа автора, якого свідомість у цій пекельній картині упадку й божевілля напів затемнена:

Що це?

Здається мені: переді мною . . . якесь помарніле дерево . . . дві тонкі . . . всохлі гіляки . . . .

— — — — — — — — — — — — — — — —  
— — — — — — — — — — — — — — — —

Ні... це людина.

Він підняв руки до неба...

— — — — —  
Чого він підняв руки до неба?...

Аж тепер слідує завязок властивої драми, коли з жахливого тла виринає сім людських тіней. Тут, так сказати, народжується воля до життя у своїй первісній, брутальній формі. Однак все таки ця форма є вже вищим ступенем розвитку принципу життя, бо тут люде не кидаються вже на себе в божевільно дикій і безцільній жадобі нищення, тільки ждуть, аж найслабша людина згине.

Перший розділ творить драматичну експозицію поеми. Вже тут доходить драматичне напруження до такої могутньої висоти, що читачеві прямо запірає віддих, так, що після прочитання першої частини ми, поражені грозою цієї картини, не можемо собі уявити, чи й як тут далі можливе взагалі яке степенування?

Перша частина, котрій можна б дати наголовок »Танок смерти«, це своєю оригінальною концепцією, будовою, угрупованням осіб і їхньою психологією так могутня, глибока й поразająca картина, що супроти неї бліднуть



усі приблизно анальогічні мотиви у світовій літературі. Чому? Коли в подібних мотивах у інших письменників переважає фантастичний елемент, то »Танок смерти« Осипа Туряньського завдяки глибоко мистецькому скомбінуванню страшенної життєвої правди (власне пережиття автора!) з незвичайною фантазією і з правдиво українським жаром чуттєвого елемента викликає наймогутніше вражіння зі всіх анальогічних картин.

Здається, що поет сам відчув з артистичною тонкістю, що далі потрібна психологічна передишка. З тої причини він не зважає на ніякі шабльони і в 2. розділі вставляє спокійнішу сцену, якої потребу почував кождий читач після прошибаючого вражіння 1. частини.

В III. частині степенується трагізм іще живучих людських тіней зі стихійною силою до висоти, звідкіля кличе грізна, в положенню тих людей нечувана життєва конечність »бути чи не бути«. Тут воля до життя передуховлюється. Дух побіджає матерію, душа перемагає тіло. Однак наслідком тої боротьби й перемоги духа тіло тратить останню відпорну силу. Кульмінаційною точкою є тут »Пісня вічно-

сти», в котрій поет підноситься описом трагізму людської душі до найвищих вершин поезії.

В IV. частині фізичні й душевні муки людей степенуються так далеко, що наступає у всіх із винятком Добровського, найздоровшого чоловіка, стан психічного затьміння. Являються галюцинації, візії, божевілля. В природі зривається буря, котра прискорює смерть нещасних. Притемненій свідомості поета являється привид його дружини й сина і коли всі його товариші з байдужістю вміраючих застигають, його дух у безмежній тузі за життям і сонцем затримує в тілі останню іскру погасаючого життя й таким чином передуховлена воля до життя виходить переможцем із безодні буття.

Отже будова поеми переведена автором по мистецьки й хоч поет мав тут до діла з незвичайно трудним матеріалом, у якому чергуються всі елементи болю, розпуки, знищення, божевілля, смерти, то він майстерною рукою сотворив органічну цілість, так що можна сказати відносно матерії поеми словами Шекспіра: »Хоч божевілля це, та в тім метод«.

XVIII

»По́за межами болю« не є драмою в формальному значінні, хоч її внутрішня архітектоніка переведена здебільшого по всім правилам драматичних законів. Адже основний і всі побічні мотиви поеми і їх артистична обробітка виказують у поета незвичайну снагу драматичного будування і степенування. Форма твору »По́за межами болю« має всі признаки так високої поезії, що назва »повість« звучала б у приміненні до нього шабльоново, буденно. Та коли кожду річ треба якось »охрестити«, то до твору Турянського підходить найліпше назва »поема«, хоча сам автор називає її »скромним оповіданням«.

Форма таланту Турянського незвичайно багата. Хоч автор, як це слідно з його поеми, знає докладно світову літературу, хоч подекуди видно в поемі вплив наймодерніших літературних напрямків, то його оригінальний талан уміє перетопити всі найкращі елементи європейського впливу в горнилі власної душі й надати їм печать власного творчого духа. Як приклад може послужити сцена, де Ніколічеві в шумі вихру, у кряканню круків причувається пісня. Ця картина нагадує подекуди Метерлінка. Одначе, коли для Метерлінка найвищим

завданням є витворення таємного настрою, для котрого він занедбує або й нарушує психічно-індивідуальний елемент, то Турянський малює плястично попри настрої характерні, індивідуальні черти своїх осіб. Впрочім європейський вплив показується у Турянського найбільше у сфері не так форми, як ідеї. Тут він черпає вплив з філософії Гегля, Гекеля й особливо Едварда Гартмана, котрого песімізм однак зовсім відкидає.

Турянський глибокий лірик із могутньою снагою драматичного зображування. Колиж візьметься під увагу його конструктивну силу основної ідеї й логічне, послідовне проведення її в поемі, то треба сказати, що вся оригінальність форми таланту поета полягає на рідкім і дивно гармонійнім опануванні лірично-драматичного елемента й на творенні з нього високої мистецької єдності.

Щоб дати картину драматичної сили таланту Осипа Турянського, слід підчеркнути один наскрізь характеристичний факт у його поемі, одинокий у своїм роді. Подія, змальована автором, відбувається на протязі не більше трьох годин. З винятком »танцю смерті«

в першій частині всі особи, вичерпані зовсім фізично, сидять майже весь час наче приковані, примерзлі до землі, значить, момент драматичної акції, тим майже повним браком зовнішнього руху цілком виключений! А одначе... Скільки живого, могутнього напруження переживаємо при читанні поеми! Автор узяв на себе наче свідомо винятково важке завдання: він зосередив усю акцію, весь драматичний елемент лиш у сфері людської душі й могутнє вражіння, яке він викликає мимо всіх труднощів такого поставлення артистичного проблему, свідчить про стихійну силу його таланту. Вражіння, котре викликає поема з формального боку, степенує поет ідейним і психологічним контрастом. Під ідейним оглядом »Поза межами болю« — це туга, віра і змагання від повної фізичної безсильности до козмічної всесильности. Що до психологічного боку поеми, то майже всі її постаті мимо крайнього фізичного безсилля — це не »агнці на заколеніє ведени«, це горді характери, це діти Прометея, котрі протестують проти долі, проти байдужости й жорстокости небесних сил. Для того ми відчуваємо це не як ересь, тільки наче щось, що пливе з найтайніших глибин люд-

ської душі, коли в поразжаючо глибокім епізоді людина в безтямному болю кличе:

»О, Боже! Який ти малий, який ти марний супроти людського страждання!«

Навіть тоді, коли людина молиться до Бога, зазначає, що не прохає його ласки.

Добровський піднімається до демонічної величі характеру, коли присягає, що радше скочить у безодню, ніж мавби вернути назад в озвірілий світ, а Сабо з затисненими синіми кулаками глумиться з жорстокости небес.

Поет не любить запускатися в епічні подробиці й там, де звичайний повістяр розводивсяб широко в чисто зовнішніх описах і ефектах, Турянський обмежується на найконечніші зовнішні черти і надає своїм навіть епічним картинам лірично-настрійний характер, при чому кожна картина творить для себе окреме звено в загальній цілості. Завдяки глибокому ліризмові, яким овіяні всі картини й постаті Турянського, його герої піднімаються понад рівень звичайних, буденних людей і вражають глибоко вищим змістом своєї психіки, перетвореним і зосередже-

ним у творчій горнилі поета. До того приєднуються ще одна, психологічно-ідейна черта: через те, що всі особи поета не покидають свого сліпого товариша, тільки зостаються з ним, хоча знають, що можуть це життям переплатити, поет відразу підносить їх усіх на високо-етичні вершини, так, що навіть брутальна, жорстока постать у поемі, Сабо, являється менше жорстокою і блищою душі людини.

Піднестиб тут багатство й оригінальність мотивів Осипа Турянського і їх наскрізь оригінальне використання й оброблення. За далеко завелоб вичисляти ці мотиви. Деж однак мотиви не є оригінальні, наприклад поява круків, працання рідні з хлопчиною, що йде у школи, там Турянський під формальним оглядом малює їх наскрізь оригінально.

Мотиви Турянського так цікаві своєю живописною плястикою й величними образами з природи, так виняті зі суті людської душі, що маляр-художник, який умівби підійти до душі автора, сотворивби величаві й оригінальні картини.

Чи то поет малює скамянілу тишу на цвинтаріці природи, чи стихійну бурю, чи загли-

блюється в найтайніші нетри людської душі, чи зображує найніжніші почування туги, любови, спомини з далеких соняшлих країн, боротьбу, резигнацію, розпуку, глухий, все мовчазний біль, сліпу людину, скамянілу у своїому болю, розпучливе обжалування небесних сил, іронію, гумор, сарказм, демонічно-сатанічний глум, божевілля, візії сонця — всюди показує його перо печать глибокого таланту, у котрого кожде слово написане кровю серця. Зображування настроїв доводить Турянський до рідкої поетичної висоти. Під тим оглядом його »Пісня вічності«, в котрій він словами передає пісню скрипки сліпого, це архитвір світової поеії. В цій пісні перед очима засуджених на смерть проходить минуле життя, яке Турянський з незвичайним мистецтвом малює короткими картинами. Ось одна така ясна картина, в котрій безпосередність почуття, простота вислову, плястика картин, глибина думки й настрою дають чудову, гармонійну цілість:

Дзвони дзвонять . . . гомін ходить,  
В горах, долах гомін родить,  
Як сон мрія тихо-тихо  
Стелиться на сонця шлях.



Великодні дзвони дзвонять...  
О, зійди, блакитне небо  
На зелену землю нашу,  
Квітами умаєну!

Небо землю обнімає,  
Золоті свої проміння  
На людей, на всі створіння  
І в блакить безкраю шле.

Моляться як діти люде,  
З усміхом любови й щастя  
Мов вінком весняних квітів  
Кругом церкви всі стають.

Світло з пільми виринає  
І в далекий світ безкрай  
Величня, могутня пісня  
Враз дзвенить: »Христос воскрес!«.

З яким теплом почування і з якою оригінальністю й настроєвістю описує поет прощання рідні з малим хлопцем:

Чайка над очеретами  
Сумно жалко квилить — плаче:  
Мати сина виряджає  
У чужий, далекий світ.

І рідня його цілує:  
»Сину, брате, будь здоров!«.  
Верба, явір, срібна річка  
Нишком шепчуть: »Будь здоров!«.

Видіння смерти малює поет із такою поразкою понурою плястикою, з такою силою чуття й фантазії, що читач бачить, як за плечима стає смерть:

»Чувте, о любі друзі ?  
Хтось у плечі нас торкає,  
Шию обнімає й шепче :  
»Я вже тут. — Ходіть !

В тьму беззоряну одвічну,  
В чорну пустку позагробну.  
Морем вічного мовчання  
Вічно я вестиму вас.

І не буде Бог ні люде  
Знати, де могила ваша,  
Ні барвінок, ані рута  
Вам на ній не зацвіте.»

Жаль, що на цьому місці не можна навести цієї картини в цілості.

Поет уміє по мистецьки оперувати таким могутнім середником мистецтва, як контраст, при чому вражіння степенує до прямо недосяжних вершин силою чуття, фантазії і думки. Ось як Турянський малює вражіння пісні сліпого товариша:

XXVI

Пісня втихла.

Наче скамянілий подих смерти, так застигли  
людські тіні.

Їхні душі не вернули ще з далекої мандрівки  
в замогильну безконечність.

Вони блукали по сонних просторах і тужили і  
плакали за втраченим життям.

Та ніхто не чув голосу їхнього болю.

Тоді, як шість краплин води стає одною  
краплиною, так шість душ ізлилося  
в одну душу.

І була ця одна душа марніша від наймарнішої  
пилинки, котрою буря гонить безвістями.

І стала ця пилінка-душа велика мов світ, бо  
сховала в собі біль усього світу.

І могутніша від богів, бо боги не знають  
терпіння.

Контрастом користується поет не тільки  
в формі й у стилі, але в концепції основної ідеї,  
у зображуванні візій, в характеристиці осіб.

Дві головні особи поеми, автор і Добров-  
ський — це повні контрасти. Автор понайбіль-  
ше мовчить і ми його пізнаємо найбільше тіль-  
ки з опису його власних почувань; Добров-  
ський, як найздоровша людина, самотній має  
змогу більше говорити. За далеко завелоб ви-

казувати примірами силу поета в оригінальним оперуванню контрастами. Звернутиб тут увагу на двох усе мовчаливих людей, котрі мимо того творять різкий контраст із собою, це є на по-стать сліпого Штранціґера й на Пшилу-ського. Сліпий Штранціґер, який у цілій поемі висказує тільки кілька слів, це живий скамянїлий памятник на гробі власного життя, байдужий на все горе й на всі проблиски ра-дощів. Це вже якесь надземне єство, котрого присутність, не дивлячись на його могильне мовчання, чувається на кожному кроці в поемі. Поет доконав тут ґеніяльного діла: по-стать сліпого мимо свого мовчання промовляє може найголосніше в цілій поемі, як німа жалоба на людське озвіріння й на зледенїлу байдужість небес. І коли мимо всього ця най-нещасніша, людським озвірінням убита лю-дина перебиває свою мовчанку словами:

»Є сонце в життю«,

коли вона говорить наче споза меж добра і зла:

»Люде не є добрі . . . . не є лихі . . . .  
люде тільки нещасливі і — щасливі . . . .«,

то її слова потрясають до дна не тільки душу товаришів, але витискають сльози з очей

кождої чутливої душі. Можна сміло сказати, що межі сліпими Метерлінка ні одна постать не може зрівнятися щодо сили зображення зі сліпим героєм Турянського. Ба що більше: постать Штранцінґера не має собі рівні в цілій європейській літературі.

Друга людина, Пшилуський, тип чоловіка, якому війна зруйнувала в жорстокий спосіб родинне життя, все ривється у своїй рані, все прислухається мовчки до опира, що точить йому кров зі серця. І як раз через те він становить незвичайно цікавий контраст до Штранцінґера.

Я вже згадав про те, що Турянський пережив сам і видів таку безодню болю, розпуки й божевілля у світовій катастрофі, як це може й не судилось пережити другій людині з таким могутнім поетичним талантом, як у нього. З тої причини кожне його слово — це кров, кожда його думка — блискавиця у кромішній тьмі, кожда його постать, це жива душа загальної душі людства, зображена крізь призму передуховленого »я« поета.

Дlatego ми відчуваємо й розуміємо глибоко життєву й артистичну правду слів Добровського, котрий жєлає поетам і критикам,

щоб доля кинула їх бодай на короткий час у безодню, в якій він знаходиться зі своїми товаришами. Тоді поети писалиб найчистішою кровю свого серця, а не самим чорнилом, як це часто діється, а критики сталиб на дні буття поетами . . .

Турянський уводить нас у нову країну психольоґічних нетрів людської душі на тлі безтямного фізичного й душевного розвалу й хаосу. Його як модернього артиста займає головно душа людини. Длятого фізичний упадок, зовнішні моменти людського горя, голод і холод описує поет дуже коротко, лиш кількома ядерними чертами, щоб зараз же перейти до зображування душевних переживань. Клясичним зразком може послужити оце місце:

Очі сховалися глибоко в лобі.

Шукають душі, щоб разом із нею покинути тіло, нужденну, розвалену тюрму.

Психоаналіза Турянського кидає нове світло на таємні нетри людської душі *in infimis profundis* і подає незвичайно інтересне джерело для студіювання психопатничних феноменів на тлі нечуваного фізичного й душевного вичерпання.

XXX

Ми всі начиталися у світовій літературі багато творів, у котрих чоловік, запроторений долею далеко від рідні, бачить перед очима своєї душі Святий Вечір і свою родину, зібрану довкола ялинки. Це старий мотив і зображуваний старими засобами він уже не робить глибокого вражіння. Однак у Турянського видно у різдвятий картині наскрізь новий, психологічний мотив, який поражає нас оригінальністю у зображенню психічного переживання. Живий труп, якесь дивне марево зі зледенілих глибин буття бачить крізь вікно свою рідню, що стоїть довкола ялинки. Однак він не може, не сміє увійти в середину, бо між тихим спокоєм людей у кімнаті й між його нужденністю лягла непроглядна, непроходима безодня! Його осліплює світло, вбиває тепло, яке йде від тих людей на нього. Він здушує хлипання, що йому грудь розриває й ховається у Гектора, свого приятеля, котрий є собакою його батька та з жагучими очима жде на страву, яку принесуть собаці. Так глибокого, так потрясаючого трагізму, опертого на пережиття в найтемніших глибинах людського страждання і зображеного в такий поражаючого глибокий спосіб не можна найти в ніякому іншому творі

європейської літератури. Такий психологічною глибиною поражаючий мотив міг народитися тільки в душі поета, який пройшов пекло болю.

З незвичайною глибиною зображає Турянський психологічний момент, коли йому здається, що його свідомість знаходиться десь на вні поза ним. З великою психологічною тонкістю обосновує поет психологічно незвичайно інтересний факт, як п'ятьом нуждарям здається, що їхній сліпий товариш є щасливіший від них і вони заздують йому його щастя...

Неможливо на цьому місці зупинатися на всіх психологічних моментах, які поет пережив, відчув і зобразив незвичайно оригінально й артистично. Згадатиб тут іще коротко візіонерський елемент, який у поемі являється серед фізичного й духового розвалу психофізичною конечністю, котру поет зобразив як життєву правду і як артистичний засіб. Візії товаришів являються лиш як короткі епізоди, які поет обмежує до найконечнішої артистичної потреби. Так наприклад Бояні не бачить уже вдруге свої матери в човні на сірому морі хмар, а Пшилуський не бачить на-



віть своїх дітей, хоч і як це було б ефективно. Однак поет уміє заховувати артистичну міру й ніде не гонить за самими ефектами, обмежуючи природну психологічну правду для артистичних цілей. З незрівняним артизмом він описує, мотивує і степенує свій власний психічно-візіонерський стан, аж доки у сніжно-білім корчі, що похожий на постать матері з дитиною, не побачить власної дружини з сином. Його молитва до Бога, його розпучливі зусилля зближитися до візії дружини з сином і момент, коли після його вистрілу на звіра, що в його уяві хоче кинутися на дружину, привид щезає і він бачить лиш голий, безлистий корч, його розпучливе ридання, що він убив власну дружину й сина — це з таким високим драматизмом зображені картини болю й розпуки, що можуть своєю психологічною й мистецькою силою стати сміло попри картини божевільного болю Шекспірового короля Ліра.

Можна б написати окремі студії про деякі сцени поеми, як і про сцену, в котрій Сабо гризе і жве паперові гроші й виконує смертний присуд на воєнних злочинцях, опісля засуджує себе самого на смерть. Тут поет показав таке глибоке знання людського серця,

Й такий дар помічування, зосередив таку багату скалю орігінальної глибини й ширини свого таланту, від малювання божевільної розпуки й жадоби помсти аж до надземно-святого всепрощання, від іронії, сміху аж до сліз, від дьявольсько-демонічного глуму аж до хлипання, до самозасуду, від розвалу й руїни аж до соняшної ідеї, коротко — дав нам таку дивно органічно змішану, потрясаючу й гармонійну цілість, як це тільки найбільші генії світової літератури зуміли. З цієї сцени не можна наводити тут ні найменшого епізоду, коли неможливо подати її тут у цілості. Зазначимо тільки, що гриження і рвання зубами грошей, під якими Сабо розуміє воєнних злочинців, нагадує славну сцену з Дантового пекла, в котрій Уголіно вгризається зубами в голову свого ворога, що засудив його разом із дітьми на голодову смерть. Вся різниця й орігінальність сцени Турянського полягає в цьому, що картина Данта — це чиста фантазія, тоді як тут маємо діло з реальним виконанням людської помсти.

Одною з найцінніших прикмет таланту Турянського — це його гумор, який проявляється в різних відтінях від ніжної іронії аж до де-

монічного сарказму. Плястична постать Добровського видається нам великою, могутньою завдяки свому гуморові, котрого він не тратить у найстрашніших хвилях, ба навіть тоді, коли збирається на все заснути. Його гумор, який місцями переходить у демонічний сарказм, ділає як моральне освободження, наче катарсис у темних глибинах болю, опущення й руйні. Добровського мусить кождий полюбити, бо хоч із нього песіміст, однак у його гуморі є щось велике, щось глибоко філософічне, є сміх крізь сльози, є добре, гарне серце людини, є сильний характер, який піднявся своїм духом понад людські слабости, понад боязнь перед смертю й перед життям. Требаби багато писати, щоб зобразити докладно характер і гумор Добровського.

Наведу тут тільки один примір на те, якою демонічною силою визначається гумор Добровського.

Коли Пшилуський стрілив на привид своєї невірної дружини, Добровський сказав йому ось як:

»З тебе неабиякий стрілець, коли тобі вдалося застрілити ворога на віддаль двох тисяч кілометрів. Та проте прийми мою раду:

коли з того болота, з якого нас усіх зліпив сліпий випадок, ти знов народишся на світ, знов зійдеш із розуму і знов оженишся, то для більшої певности стріляй на свою жінку з ближчої дистанції»...

Грубим, цинічним гумором відзначається Сабо у клясичній сцені, коли він засуджує на смерть злочинців на воєнному тлі.

Завдяки багатій скалі душевних струн, які виказує талан Турянського, поет має силу не тільки предметувати себе самого, але вийти поза межі свого власного »я« й характеризувати людей із плястичною інтуїцією та індивідуалізувати їх.

Стиль поета образований, простий і багатий різноманітним тінюванням, відповідно до характеру картин, осіб, до їх фізичного й душевного стану. Турянський лишає багато місця для фантазії читача й це рідка прикмета його стилю. Короткість, плястика, ядерність його стилю доходить до того, що його герої й він сам, згідно із психофізичними законами, які він на кожному кроці помічав підчас свого трагічного переживання, не все говорять реченнями, тільки кидають самі підметові або присудкові зображення, які під артистичним

оглядом викликають глибоке вражіння. Поет виказує велику оригінальність не тільки в ідейній концепції, в мотивах, у композиції, у психоаналізі, але також у стилі, так, що опис такого звісного мотиву, як поява круків, робить глибоке вражіння оригінальністю стилю. За далеко завелоб нас давати на ці твердження приміри, яких у творі дуже багато.

З кожного речення, з кожного слова стилю автора видно глибину пережиття, передуховленого в артистичній єдності чуття, думки й фантазії.

Кілька примірів:

»Який день сьогодні? Я вже не знаю. Час перестав уже існувати для мене. Немає для мене будучности, не стоїть за мною минушина.

А теперішність?

Це кривава точка межі двома вічностями. Це рана, яка росте чим раз більше в глиб і в шир і своєю блідою кровю закриває мені все майбутнє і все минуле.»

З якою глибиною малює поет своє почування на дні буття:

»Це сон — це божевільна мрія хорої уяви, що я колись був людиною . . . . що я жив родинним щастям і радів промінням сонця . . . .

Мені здається, що я віками животів у беззоряній ночі... в темній ямі... між холодними плазунами... і віками там конатиму...»

Навестиб тільки зразки ляпідарної плястики стилю Турянського:

Ідуть живі трупи людей по трупі природи.

Або картина з високих гір:

Чорне море хмар на небі глядить понуро на сіре море хмар над землею.

Поет уміє при помочі звука о, г, м, н знаменито наслідувати гомін, напр.:

Довго гори гомоніли гомоном понурого суму.

Або:

І знов вона брентить і гуде, як далекий невгомонний гомін похоронного дзвона.

Взагалі Турянський уміє різні почування й настрої малювати при помочі відповідних звуків. Так напр. звуком а він віддає почуття безмежності: У безкраїм тайнім царстві; і в блакить безкраю шле.

Скупчуванням звуків і малює поет найніжніші спогади з минулого: На весні предавніх літ.

XXXVIII

Звуком у Турянський степенує вражіння понурою настрою, бурі й видіння смерти: Час від часу гуде глухо гук гармат; Чуєте, о, любі друзі ?

Глум богів віддає поет скупченням звуку р: І з людства сміються глумно громами із чорних хмар.

Так само звуком р висловлює поет розпучливий гнів людини на жорстокі небесні сили: Ти, котрий там на горі розперся серед чорних хмар: Греми і вдар! Греми і вдар!

Звернутиб іще увагу на те, що автор не все називає по імені річ, яку описує, і тим тільки скріпляє вражіння, пр.:

Щось підступає мені під горло.

Щось тиснеться до очей.

Ні, ні... ніхто не побачить їх...

Вони всі вже виплакані...

Очі висохли, замерзли.

Другий стилістичний засіб автора, це називання описуваної особи або речі на кінці. В тім і секрет потрясаючого вражіння розмови смерти, що кінчиться строфою :

Марно пустку безконечну

Роздере ридання ваше :

Бог ні люде вас не вчують,

Лиш я вчую : ваша смерть.

Требаб написати цілу книжку, щоб обговорити вичерпуючо всі цінности поеми »Поза межами болю« і схарактеризувати, як слід талант Осипа Турянського.

Після глибокого, потрясаючого вражіння, яке викликає поема »Поза межами болю«, насувається ще одно вельми цікаве питання:

»Як це можливе, що Турянський, пройшовши за життя таке пекло і стративши своє здоровля, все таки найшов у своїй душі дивну, прямо невияснену силу, яка розгорнула всі чорні хмари над понурою безоднею його страждання? Як це можливо, що поет не затратив віри в ясні вершини життя й показав своєму народові і всьому людству невміруще сонце над жахливим цвинтарцем, яке так по мистецьки змалював? Адже завдяки соняшній ідеї, завдяки непохитній вірі в перемогу ясного духа людства, »Поза межами болю« творить ясне джерело розради не тільки для сучасного людства, але належить, як кожний великий твір, також, до далеких, грядучих поколінь. Ми знаємо зі світової літератури, що неодному великому талантові вистарчила пераз дрібна причина, вистарчило наприклад, аби дівчина не прийшла на визначене



rendez-vous, щоби поет став чорним песімістом! Якже психологічно з'ясувати такий ясний, соняшний світогляд Турянського? Тут садиноко можливе лиш одно з'ясування: Турянський є сином душевно й тілесно здорової української нації, яка всіма своїми силами бореться й вірить у перемогу всіх найвищих народньо-українських і загально людських ідеалів.

Душа і світогляд Турянського відзеркалює здоровий душевний і моральний оптимізм, життєвий і ідейний позитивізм усього українського народу. Західня Європа привикла вже від ряду літ бачити в тім кипучім китлі, що зоветься Східня Європа, лиш руїницьку боротьбу народів з народами, божевільне взаїмне винищування соціяльних кляс і упадок усякого почуття суспільного ладу й етики. Поема »Поза межами болю« показує цілому світові, що погляди Європи на Україну зовсім помилкові. Твір Турянського має прямо символічне значіння для українського народу. Як сам поет гинув у страшній прірві, так і його народ кривавиться оце вже від 1914 року аж досі за те тільки, що він перший у світовій війні дав почин до закінчення звірячої між-

народньої різні, за те, що також хотів засісти у сім'ї народів, як вольний з вольними, рівний з рівними. Однак безмізкі західно-європейські діпльомати кинули на нього присуд смерти в імя »єдиної неделімої Рассеї«. Це злочин на європейській культурі, це злочин на духові всього людства нищити всякими воєнними засобами, а навіть »санітарними кордонами« такий здоровий і талановитий, для світової культури так необхідний народ, як український.

Хоч політичні змагання українського народу звісні здебільшого кожній освіченій людині в Європі, то, нема де правди діти, характер, душа Українців були для Європи повиті тайною, а радше псіхе українського народу ідентифіковано з псіхе російського народу. Звісно, що душу кожного народу можна найглибше пізнати з його духової творчости, в першій мірі з його літератури. В цьому напрямку Європа не мала досі нагоди пізнати докладніше український народ. Правда, децо з української літератури перекладено на німецьку мову, однак ці перекладені твори не відзеркалюють вірно української душі з оцих причин: Переклади поезії Тараса Шевченка, най-

більшого поета України й одного з найбільших ліриків світової літератури, доказують, що Юлія Вірґінія, авторка перекладу, не була в силі дорівняти німецьким перекладом елементарній могутності й одночасно простоті Шевченкового слова. Із творів Івана Франка, найбільшого поета після Шевченка, не перекладено досі на німецьку мову нічого визначнішого. Збірка новел Коцюбинського п. н. »Pro bono publico«, яка появилася в німецькім перекладі, доказує, що Коцюбинський великий мистець слова, однак його новелі не обіймають цілоти і всієї глибини життя, а дають нам тільки його артистично викінчені фрагменти. Твір Винниченка в німецькім перекладі п. н. »Ehrlich zu sich selbst« не заслужив рішуче на те, щоб його перекладити на європейські мови, бо його рапава, невироблена й несмачна форма, а головно його карколомно руїницька ідея, зглядно брак усякої позитивної ідеї — все те дає Європі не правдиву, тільки викривлену картину української душі. На щастя такою українська душа не є, бо видно у творі »Чесність з собою« на кождому кроці вплив не української своєрідности, а російського нігілізму.

Доперва з твору Осипа Турянського »Поза межами болю«, написаного кровю серця, народженого після нечувано жахливих мук душі й тіла автора, пізнає культурний світ правдиву душу українського народу. Це незвичайно цінне відкриття для Європи й автор »Поза межами болю« поклав під тим оглядом велику заслугу для свого народу. З поеми Осипа Турянського бачимо всю українську ніжність, спочуття, любов і привязання до родинного життя, віру в сонце, всю душевну й тілесну жилавість, коротко весь позитивний, здоровий і в найвищі вершини духового життя задивлений український народ, який на шляху своїх вищих змагань повалить усі перепони. Народу з такими елементарно сильними й гарними прикметами не знищать навіть »боги лукаві«, а не то західньо-європейські пігмеї-дипльомати . . .

На цьому місці буде цікаво пізнати думку визначних Українців, які читали твір Осипа Турянського в рукописі. Петро Карманський, найглибший сучасний лірик на Україні й один із найбільших знавців світової літератури, пише до Осипа Турянського ось як:

XLIV

»Ваш твір — це наймогутніша з відомих мені картин на тлі світової катастрофи не тільки в нашій, а й у цілій європейській літературі. В порівнанні з фізичною і психічною мартірією Ваших осіб бліднуть картини Андрєєвого »Червоного сміху«, а навіть поражаюча, жахлива картина воєнного лихоліття бельгійського народу, змальована пером Анні Віванті, роман »*Vae victis*«, реномований європейською критикою; між иншим Конан Дойлем і Юрієм Брандесом, після прочитання Вашого твору в моїй душі приблідда.

Ваш твір робить вражіння дійсно пережитого, відчутого, переболілого і списаного кровю серця. І змістом (ідейно) і формою він має всі прикмети новітнього, наскрізь європейського твору і я певний цього, що він не останеться в межах нашої країни — та що він добуде право горожанства у всесвітнім письменстві. Це наймогутніший протест (без протесту) проти європейського останнього злочину, це скрик одчаю чутливої душі людини, мужа й батька, а рівночасно вислів віри в людину, який Вам удалося так просто, а рівночасно так могутньо висло-

виглядає трьома словами »є сонце в життю«,  
вложеними в уста сліпого.

Прийміть мою заяву радості з приводу  
повного успіху

Ваш

Петро Карманський.

Я вже зазначив, що »Поza межами болю«  
не має нічого спільного з вoєнною різнею і  
в тiм як раз одна з найцінніших його прикмет.  
»Червоний сміх« Андрєва не може ні при-  
близно рівнятися з поемою Осипа Турянського.  
На кожному кроці »Червоного сміху« так  
і видно, що це значить, як автор сам не видів,  
не пережив, не переболів того, про що пише.  
Вже перше речення »Червоного сміху«, »Боже-  
вілля і злочин« — це чиста фраза. Як ошадно  
поступає Турянський з такими важкими пси-  
хольоґічними проявами! Божевілля людей він  
зображає як кульмінаційну точку душевного  
болю і як артистичний середник поволі, посте-  
пенно й доводить його до вибуху дoперва при  
кінці своєї поеми. Про якусь одноцільність,  
пляновість, єдність »Червоного сміху« не може  
й мови бути, вже й не згадаючи про псевдо-  
реалістично несмачну психоаналізу Андрєва.

XLVI

Головна хиба »*Vae victis*« — це невдале вязання матерніх почувань із вузким расовим шовінізмом. Найвизначніший твір на тлі світової війни — це безперечно »Огонь« Барбіса. Це величезна будівля, якій однак брак внутрішньої і зовнішньої архітекτονіки, це реалістичні, дуже часто аж надто реалістичні малюнки, не повязані з собою в органічну артистичну єдність. Барбіс звертає більш увагу звичаєм Золі на *milieu*, як на людину. З тої причини його постаті являються надто малими, надто позбавленими власної індивідуальности й після прочитання твору всі випадають із тямки.

І ще одно. Барбіс наводить свою розмову з жовнірем на те, щоб висловити погляд, що він буде писати тільки правду. Отже в ім'я цієї життєвої правди стрічаємося у Барбіса майже на кожній стороні з крайньо непристойними виразами, котрих тут не можемо наводити з винятком хиба »найделікатнішого« виразу: з окопів смерділо як з писка... Забуває Барбіс, що життєва правда й поетична правда — це два світи, які не мають із собою майже нічого спільного. Це дуже тонко відчуває Турянський, у котрого найжахливіші

сцени болю й людського упадку осяяні блеском високої поезії, овіяні духом промінної людяности й соняшної етики. Він ненавидить невмитий натуралізм. З другого боку його талан занадто оригінальний, щоби поклонятись якійнебудь літературній школі. Відносно ідейного світогляду творчости визнає Турянський лиш одну засаду, яку Гете висловив словами :

*Aus Morgentau gewebt und Sonnenklarheit  
Der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit.*

Зберім тут коротко ці нові моменти, які Осип Турянський вносить своєю поемою в європейську літературу.

На першому місці слід покласти основну ідею поеми, яка своєю прометейською смілістю, своїм соняшним оптимізмом творить поразяючий контраст до фізичної безсильности людей і до понурої безодні, в котрій вони знаходяться. Це пеначе два протилежні бігуни безконечности! І коли як раз сліпа людина бачить із найтемніших глибин буття сонце в життю, то поет дає тут свідомо синтезу протилежної безконечности, якої вислідом являється віра в божестьке призначення людського духа.

XLVIII



Другий новий момент — це зворушлива картина братерства й любови, спільного страждання і спільної смерти синів різних народів, які дишуть супроти себе лиш почуттям расової ненависти!

Рівнож цінним вкладом в європейську літературу являється форма поеми Осипа Турянського.

Стихійно могутня лірика Тараса Шевченка дає доказ, що українська психе відзначається незвичайно інтензивним чуттєвим життям. Це слідно дуже наглядно в поемі Турянського. Цей глибокий і гарячий, як жар, чуттєвий елемент таланту Турянського проявляється в зовнішній і у внутрішній формі поеми. В зовнішній формі виступає його чуттєвий елемент як низка ліричних епізодів, які своєю безпосередністю, глибиною, імпресіоністичною, а подекуди експресіоністичною силою зображення і свіжістю роблять незвичайно глибоке вражіння. Згадаймо тут тільки ліричний епізод, коли автор, побачивши замість товаришів дивні марева, хоче кинутися у провалля. Вся тайна вражіння цього епізоду лежить у розірваності почувань, які наче на дошці рятунку втихомирюються на новім почуванні-спогаді:

там вони обоє... Далі глибоко зворушливий епізод, коли душа поета, шукаючи рятунку, переходить від безкрайого замерзлого світу і спинається на своїй дитині словами: »Молися, сину, молися за батька!« Або такий, огненною силою чуття могутній епізод, як святкування вродин дволітнього сина!

Так само всі інші ліричні епізоди викликають глибоке вражіння інтензивністю чуття й мистецьким зображенням. Якби автор був занехав цю свіжу непосредність і був заступив ліричні епізоди старою, чисто епічною манерою оповідання, то з найбільшою певністю треба сказати, що його твір завдяки втертим шаблям буби стратив багато на вартости. Вже пережилися не тільки довжезні, кількатомові романи, не тільки натуралістична й реалістична школа в літературі, але навіть сама епіка, о скільки вона описує зовнішній світ, о скільки вона реєструє, а не настрює — така епіка вже надоїла, опротивіла. Це дуже тонко відчуває Турянський і тому він є тільки там чистим епіком, де малює стихійну бурю в людській душі (примір: суд Саба). Колиж однак він малює, так сказати, статичний стан, пасивність людських почувань і природи,

там він являється глибоким, настроєвим ліриком.

Тепер кілька слів про внутрішню форму поеми. Тут Турянський дає світовому письменству щось оригінальне, щось наскрізь національно українське, а саме: він огортає, огріває, опромінює гарячим, мов степове українське сонце, чуттєвим змістом української душі всіх своїх героїв, всі ясні й понурі картини, а навіть усю ідейну концепцію твору. В парі з тим іде його огненне співчуття й любов до всіх людей, яких він у чудово зворушливій картині підчас хлипання Саба ділить словами сліпого не на лихих і добрих, тільки на нещасливих і щасливих! Цей чисто український, огненно чуттєвий і високо етичний зміст поеми «Поза межами болю», це як раз цей новий, оригінальний і найбільший вклад у скарбницю загально людського духа, це здобуток, який запевняє поемі Осипа Турянського тривалу вартість.

Недавно один віденський часопис написав ось що: «Бракує нам іще досі поетичного твору, який виспівавби нам усім із душі прокляття світової катастрофи».

Завдяки своїм могутнім прикметам таким поетичним твором є рішучо »Поza межами болю« Турянського. Ба, що більше! »Поza межами болю« буде все джерелом розради для кожної людини, яка побачить, що її горе — це дитяча химера в порівнанні з муками, які терпіли люде, зображені Осипом Турянським. І бита злиднями, скута тьмою, побачить людина в його творі ясний шлях, який веде на зустріч сонцю золотому.

Др. Осип Турянський родився в 1880. році в Оглядіві, в галицькій частині України. Після скінчення української гімназії у Львові й філософічного факультету в Відні одержав на основі дисертації »Ueber den e-Laut in der ukrainischen Sprache« степен ь доктора філософії і в р. 1910 обняв посаду учителя української мови й літератури в українській гімназії в Перемишлі. З вибухом європейської війни покликано його на сербський фронт, де він в році 1915 попав у сербську неволю. Підчас офензиви Макензена Сербі загнали його з другими бранцями в альбанські гори, де він пережив трагічну подію, описану в творі »Поza межами болю«. З Альбанії забрали його Італійці в полон, у котрім він прийшов трохи

до себе після жахливого пережиття в Альбанії та віддався науковій і літературній праці; крім того писав до італійських часописів, як »Corriere della Sera«, »Tribuna«, »Avanti«, »Tempo« статі про українську справу. З італійського полону містив також статті на цю саму тему в англійській пресі, передусім у »Manchester Guardian«.

Тепер др. Осип Турянський викладає порівнююче індо-європейське мовознавство на українському університеті, який із за ворожої окупації українських земель розвиває свою діяльність покищо в Відні.

Ще студентом на віденському університеті працював Осип Турянський як співробітник »Ukrainische Rundschau«. Крім того поміщував статті про українську справу в »Kölnische Zeitung«, »Hamburger Fremdenblatt«, »Hilfe« Навмана, »Frankfurter Zeitung« і т. д.

На літературній ниві виступив др. Осип Турянський в 1908 поміщенням трьох новель в »Альманаху« віденської Січі. Як гімназійний учитель написав низку новель і нарисів, які були друковані в українських часописах.

PG3948

.T87

P6



A000002281667

На закінченні ~~високого~~ ~~одне~~ бажання:  
Хай доля, котра чудом вернула др. Осипові  
Турянському життя, верне йому також здо-  
ровля, до котрого він іще досі не зовсім прий-  
шов після жахливого пережиття в Альбанії.

І хай його талан скаже ще не одно мо-  
гутне слово українському народові і всьому  
людству.







A000002281667